



*письма
о любви*

А. Пушкин, А. Чехов, А. Блок, А. Ахматова и другие

Письма и дневники

Сергей Нечаев
Письма о любви

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Нечаев С. Ю.

Письма о любви / С. Ю. Нечаев — «АСТ»,
2018 — (Письма и дневники)

ISBN 978-5-17-106636-9

В этой книге собраны письма русских писателей XIX и XX вв. — А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета, И. Гончарова, А. Герцена, В. Брюсова, А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина и других. Любовь, как драгоценный камень, переливается в их строках всеми цветами радуги, обнажая тонкие струны души. Читатель проникает в чужую тайну и открывает для себя много неожиданного в биографиях известных писателей, в сюжетах созданных ими художественных произведений. Он становится свидетелем большого счастья, мучительных страданий, головокружительных признаний и вспоминает свою собственную историю любви.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-106636-9

© Нечаев С. Ю., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Василий Жуковский	6
Александр Грибоедов	19
Александр Пушкин	22
Федор Тютчев	32
Александр Герцен	49
Николай Огарев	58
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Письма о любви

Автор-составитель Сергей Нечаев

Серия «Письма и дневники»

© А. Ахматова, наследники, 2018

© С. Нечаев, автор-составитель, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Когда недавней старины
Мы переписку разбираем,
И удивления полны —
Так много страсти в ней читаем,
Так много чувства и тоски
В разлуке, столько слез страданья,
Молитв и просьб о дне свиданья, —
Мы в изумленье: далеки
Те дни, те чувства!.. Холод света
Отравую дохнул на них!..
Его насмешек и навета,
Речей завистливых и злых
Рассудок подкрепил влиянье;
Разочаровано одно
Из двух сердец... Ему смешно
Любви недавней излиянье!..

Евдокия Ростопчина

Василий Жуковский

Летом 1805 года Василий Андреевич Жуковский, будущий известный поэт, работавший пока бухгалтером в Главной соляной конторе, но уже имевший за плечами несколько собственных произведений и переводов Коцебу и Сервантеса, стал наставником своих племянниц – дочерей тульского губернского предводителя дворянства Андрея Ивановича Протасова и его супруги Екатерины Афанасьевны (урожденной Буниной).

Андрей Иванович умер незадолго до этого, оставив после себя большие карточные долги. Екатерина Афанасьевна, будучи стесненной в средствах, не могла нанять учителей и попросила об услуге Жуковского, только что окончившего Московский университетский пансион.

В те времена образованием девочек занимались весьма поверхностно, однако Жуковский очень серьезно подходил к роли учителя. По утрам они занимались историей, читали Геродота и Тацита, вечером были философия, литература и эстетика. И очень скоро Василий Андреевич стал задаваться вопросом: а можно ли быть влюбленным в ребенка? Речь шла о романтическом влечении к старшей из девочек – 12-летней Марии.

Мария, в отличие от своей сестры, считалась некрасивой. По характеру она была замкнутой, тогда как Александра была девочкой живой и веселой. Мать с Машей была излишне строга, и та чувствовала себя одинокой.

Любовь Жуковского нашла понимание в окружавшем поэта родственно-дружеском кружке, исключая только саму Екатерину Афанасьевну, женщину твердую и решительную. Когда летом 1807 года 24-летний Жуковский попытался открыто заговорить с ней о чувствах к Марии, Екатерина Афанасьевна ответила ему резким отказом, так как считала дочь племянницей Василия Андреевича, а следовательно, брак между ними – противным церковному закону. Кроме того, по мнению матери, дочь ее была еще слишком молода. И для Жуковского начались долгие годы борьбы за свое счастье.

От отца, Афанасия Ивановича Бунина, Екатерине Афанасьевне остались два села в Орловской губернии – фамильное Бунино и Муратово, куда летом 1810 года Протасова решила переехать.

Жуковский отправился вместе с Протасовыми. Он даже принял участие в строительстве усадебного дома: провел съемку местности, составил и рассчитал планы строительства.

В мае 1811 года ушла из жизни приемная мать Жуковского – Мария Григорьевна Бунина. Похоронив ее, Василий Андреевич, чтобы быть ближе к Марии Протасовой, купил дом в деревне Холх, в полуверсте от усадьбы Екатерины Афанасьевны. Теперь он мог каждый день видеться с 18-летней Марией. Василий Андреевич решился на еще одно объяснение с Е. А. Протасовой, но та вновь заявила, что «по родству эта женитьба невозможна». Удивительно то, что Екатерина Афанасьевна не считала Жуковского (приемного сына родителей) братом, но при этом была твердо уверена: Маша – его племянница.

Сложившуюся ситуацию Жуковский переживал очень тяжело, и это стало причиной его печального настроения, сетований на судьбу, одиночество, послужило темой для целого ряда грустных романсов и элегий, в которых горькая доля поэта занимала главное место. Но нападение на Россию Наполеона и Отечественная война 1812 года заставили Жуковского на время забыть о личном несчастье. Он записался в Московское ополчение поручиком, а с войны вернулся штабс-капитаном и кавалером ордена Святой Анны 2-й степени. После возвращения в Муратово Василий Андреевич снова посватался к Марии, тогда уже и она изъявила согласие выйти за него замуж, и... снова получил отказ: Екатерина Афанасьевна прямо настаивала – браки между близкими родственниками недопустимы.

Жуковский же был уверен, что жизнь дана человеку для счастья, и он старался убедить в этом и свою любимую.

25–26 февраля 1813 г. Муратово

Василий Жуковский. Из «Дневника»

Сам бросить своего счастья не могу: пускай его у меня вырвут, пускай его мне запретят; тогда по крайней мере не я буду причиной своей утраты. Жертвовать собой не значит еще соглашаться, что жертва необходима и угодна Богу, которому ее насильно приносят. Он дал мне совесть. Отчего же эта совесть спокойна, когда я рассматриваю желания своего сердца, и рассматриваю их в уверении, что у меня есть строгий свидетель; отчего, представляя исполненными свои намерения, чувствую в себе самую чистую радость, вижу себя лучшим? Неужели это доказательство, что мои намерения дурные? А какое другое правило вернее в суждении о самом себе. Я же не один: прекрасные люди, истинные христиане, одобряют меня; а мнение, противящееся мне, само по себе сомнительно, и для тех, которые его имеют. Если бы человеку, совершенно равнодушному, надлежало произнести приговор, что бы он сказал? Одно мнение поддерживает истинный христианин, но оно разрушает счастье; другое, ему противное мнение, также истинный христианин защищает, и оно дает счастье – которое справедливо?.. Без сомнения то, на которой стороне счастье, ибо оно оправдывается. Так бы должен был решить беспристрастный, но наш судья – мать. Мои намерения достойны моего Творца, и моя молитва к нему: чтобы он исполнением их дал мне единственный способ его удостоиться в жизни или чтобы скорее взял от меня обратно жизнь, совершенно бесплодную. Вот вся моя исповедь.

Очередной решительный отказ матери привел к ухудшению здоровья юной Марии Протасовой. А в ноябре 1813 года в деревню Холх, по приглашению Жуковского, приехал его друг Александр Федорович Воейков. Несмотря на внешнюю непривлекательность, Воейков произвел впечатление на Екатерину Афанасьевну, но особенно – на Александру. Короче говоря, он очень понравился Протасовым, и Жуковский решил, что Воейков поможет ему сломить сопротивление Екатерины Афанасьевны.

23 марта 1814 года было объявлено о браке Александра Федоровича с младшей из сестер Протасовых – Александрой. Но, несмотря на обещание, Воейков ничего не сделал для решения «ситуации с Марией».

Однако Жуковский принял живейшее участие в судьбе Воейкова и устроил его профессором в Дерптский университет, и все семейство Протасовых решило перебраться в Дерпт – нынешний город Тарту. Жуковский добился разрешения ехать вместе с ними – на положении «брата».

Протасовы с Воейковым прибыли в Дерпт 15 февраля 1815 года, а Жуковский – 16 марта.

Живя в Дерпте, среди «немцев», вращаясь в кругу профессоров, углубляясь исключительно в немецкую поэзию, Жуковский даже стал находить какую-то особую прелесть в замкнутой жизни маленького университетского городка. Он был горячо привязан к семейству своей сестры, и многочисленные попытки друзей переманить его из Дерпта в Санкт-Петербург, чтобы подумать о будущем и о карьере, были напрасны.

Конечно, вероломство Воейкова стало ударом для Жуковского. Перед свадьбой Александры поэт продал Холх и передал ей в подарок 11 000 рублей. Так как жить ему теперь было негде, Екатерина Афанасьевна пригласила его в Муратово.

В очередной раз поэт сватался в апреле 1814 года, и снова Протасова-старшая отказала ему. По этому поводу Жуковский жаловался своей племяннице А. П. Елагиной (урожденной Юшковой, по первому браку Киреевской). Авдотья Петровна знала о привязанности Жуковского к Маше и была его союзницей в хлопотах о получении согласия на брак от Екатерины Афанасьевны.

16 апреля 1814 г. Муратово

Василий Жуковский – Авдотье Елагиной

Здравствуйте, милая моя сестра, новая знакомка и старый друг! Вы мне дали на дорогу добрый запас размышлений и чувств. Месяца за два я бы не вообразил, что мне будет можно поехать с *грустью* из Долбина в Муратово, – бедные мы люди! Думаем о бессмертии, о *горнем* <...> отдаленном счастье, а под носом не видим того, что может нас утешать и делать довольнее. Наше путешествие сделало и моему сердцу большое добро; оно помогло ему найти находку – *доверенность* к дружбе, прежде смешанную с сомнением, потом почти совсем разрушенную, – обратить в веру, не есть ли это находка? И не везде ли видно доброе Провидение? Отымая с одной стороны, оно всегда заменяет с другой. С полной доверенностью я сунулся было просить дружбы там, где было одно притворство, и меня встретило предательство со всем своим отвратительным безобразием – от вас не думал ничего требовать, и все само сделалось. Эта мена ничуть не убыточная; а вместе с нею и добрый урок.

Вот вам моя реплика. Поехав от вас, я думал ночевать в Черни¹. Но в Болхове узнал, что Плещеев, мой добрый негр, который белых книг не страшится, приехал один из Ельца. Я скорее в Чернь; но его не застал – он уехал в Муратово. Переменив лошадей, скачу за ним. Ночь и страшная грязь не выпустили меня из Козловки, и я ночевал у Марии Николаевны. Она сказала мне официальную новость: *свадьба назначена 2 июля, а после свадьбы едут в Дерпт*². Я поглядел на своего спутника – вы его знаете. Больная, одержимая подагрой надежда, которая скрепя сердце тащится за мною на костылях и часто отстает. – Что скажешь, товарищ! – Что сказать? Нам недолго таскаться вместе по белу свету. После второго июля – что бы ни было – мы расстанемся! Или покину тебя одного и бреди как хочешь! Или оставлю тебе свою сестрицу, которая лучше меня и гораздо лучшее (но только для добрых) *исполнение*. С нею дурной человек становится хуже, а добрый гораздо добрее. Она приготовит тебя к тому обетованному краю,

Где вера не нужна, где места нет надежде,
Где царство вечное одной любви святой!

¹ Имение Чернь принадлежало Александру Андреевичу Плещееву, двоюродному брату Маши и Саше Протасовых, с которым познакомился и подружился Жуковский. – *Здесь и далее примечания автора-составителя.*

² Речь идет о свадьбе А. А. Протасовой и А. Ф. Воейкова.

– А если останусь один! – Тогда! Готовься, как умеешь сам, к переселению в этот край! Но едва ли удастся получить пропускной билет!

Разве чудо путь укажет
В сей прелестный край чудес!

– Но ждать чуда? Кто его дождется! – И я тоже думаю! – Что же делать! – Не знаю! А для меня верно только то, что мы расстанемся! – вот вам слово в слово весь наш разговор.

Поутру рано приезжаю. Плещеев здесь по делам <...>

А мой подагрик³ шепнул мне на ухо: терпи! Тебя будут *любить*, когда получишь свободу быть тем, каким быть хочешь и можешь. И сердце скрепилось. Но было ли оно довольно так, как бывает довольным у человека, возвратившегося в тот круг, где его счастье, где его настоящая жизнь?.. Нет! Нет! Сиротство и одиночество ужасно ввиду счастья и счастливых! Гораздо легче быть одиноким в лесу со зверями, в тюрьме с цепями, нежели подле той милой семьи, в которую хотел бы броситься, из которой тебя выбрасывают. Благодаря моему подагрику это все для меня пока сносно. Но когда он от меня отковыляет в дальнюю, неизвестную сторону – тогда быть совсем выброшенным будет даже утешительно – можно разбиться вдребезги. Плещеев уехал во втором часу. У Воейкова заболела голова – его положили в кабинете; сами подкладывали ему под ноги, под голову подушки; я сидел спичкою, и на меня поглядывали с торжествующим, радостным видом – в самом деле торжество и радость. Я посматривал исподлобья, не найду ли где в углу христианской *любви*, внушающей сожаление, пощаду, кротость. Нет! Одно холодное *жестокосердие* в монашеской рясе с кровавою надписью на лбу *должность* (выправленно весьма неискусно из слова *суеверие*) сидело против меня и страшно сверкало на меня глазами. И мне стало страшно, и я ушел к себе отведать ничтожества, то есть как-нибудь заснуть...

Но Протасова-старшая никого не хотела слушать и запретила Жуковскому появляться в Муратове. Со своей Машей он вынужден был только переписываться.

Март 1815 г. Муратово

Василий Жуковский – Марии Протасовой

Милая Маша, нам надобно объяснить. Как прежде от тебя одной я требовал и утешения, и твердости, так и теперь требую твердости в добре. Нам надобно знать и исполнить то, на что мы решились, дело идет не о том только, чтобы быть вместе, но и о том, чтобы этого стоить. Следовательно, не по одной наружности исполнять данное слово, а в сердце быть ему верными. Иначе не будет покоя, иначе никакого согласия в чувствах между мною и маменькой быть не может. Сказав ей решительно, что я ей брат, мне должно быть им не на одних словах, не для того единственно, чтобы получить этим именем право быть вместе. Если я ей говорил искренно о моей к тебе привязанности, если об этом и писал, то для того, чтобы не носить маски, –

³ Так поэт грустно-шутливо говорил о втором своем «я».

я хотел только свободы и доверенности. Это нас рознило с нею. Теперь, когда все, и самое чувство, пожертвовано, когда оно переменялось в другое, лучшее и нежнейшее, нас с нею ничто не будет рознить. Но, милой друг, я хочу, чтобы и ты была совершенно со мною согласна, чтобы была в этом мне и примером и подпорою, хочу знать и слышать твои мысли. Как прежде ты давала мне одним словом и бодрость, и подпору, так и теперь ты же мне дашь и всю нужную мне добродетель. Чего я желал? Быть счастливым *с тобою!* Из этого теперь должен выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив *тобою!* Право, для меня все равно, *твое счастье* или *наше счастье*. Поставь себе за правило все ограничить одной собою, поверь, что будешь тогда все делать и для меня. Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси собственного и от этого она живее и лучше. Уж я это испытал на деле – смотря на тебя, я уже не то думаю, что прежде, если же на минуту и завернется старая мысль, то всегда с своим дурным старым товарищем, грустью, стоит уйти к себе, чтобы опять себя отыскать таким, каким надобно, а это еще теперь, когда я от маменьки ничего не имею, когда я еще ей не брат, – что ж тогда, когда и она со своей стороны все для меня сделает. Я уверен, что грустные минуты пропадут и место их заступят ясные, тихие, полные чистою к тебе привязанностью.

Вчера за ужином прежнее немножко что-то зацепило меня за сердце – но воротясь к себе, я начал думать о твоём счастье, как о моей теперешней заботе. Боже мой, как это меня утешило! Как еще много мне осталось! Не лиши же меня этого счастья! Переделай себя совершенно и будь этим мне обязана! Думай беззаботно о себе, все делай для себя – чего для меня боле? Я буду знать, что я участник в этом милом счастье! Как жизнь будет для меня дорога! Между тем я имею собственную цель – работа для пользы и славы! Не легко ли будет работать? Все пойдет из сердца, и все будет понятно для добрых! Напиши об этом твои мысли – я уверен, что они и возвысят, и утвердят все мои чувства и намерения.

Я сейчас отдал письмо маменьке. Не знаю, что будет. В обоих случаях, *perseverence*⁴! Меня зовут! чудо – сердце не очень бьется. Это значит, что я решился твердо»...

Март 1815 года (Муратово)

Василий Жуковский – Марии Протасовой

...Мы говорили – этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала, чтоб я до июля остался в Петербурге, – потом увидит. Одним словом, той сестры нет для меня, которой я желаю и которая бы сделала мое счастье. Еще она сказала: дай время мне опять сблизиться с Машею, ты нас совсем разлучил. Признаюсь, против этого нет возражения, и если это так, то мне нет оправдания; и я поступаю, как эгоист, желая с вами остаться!

В самом деле! Чего я хочу? Опять только своего счастья? Надобно совсем забыть о нем! Словами и объяснениями его не сделаешь! Маша,

⁴ Упорство (*фр.*).

чтобы иметь полное спокойствие, не должно ли тебе возратить мне всех писем моих? Ты знаешь теперь нашу общую цель. Твое счастье! Быть довольным собою! У тебя есть Фенелон⁵ и твое сердце.

Довольно! Твердость и спокойствие, а все прочее Промыслу.

Март 1815 г. Дерпт

Василий Жуковский – Марии Протасовой

Расположение, в каком к тебе пишу, уверяет меня, что я не нарушаю своего слова тем, что к тебе пишу. Надобно сказать все своему другу. Я должен непременно тебе открыть настоящий образ своих мыслей. Маша *моя* (теперь *моя* более, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что заставило меня *решительно* от тебя отказаться? Ангел мой, совсем не мысль, что я желаю незаконного, – нет! Я никогда не перемену на этот счет своего мнения и верю, что я был бы счастлив и что Бог благословил бы нашу жизнь! Совсем другое и гораздо лучшее побуждение произвело во мне эту перемену! Твое собственное счастье и спокойствие! Решившись на эту жертву, я входил во все права твоего отца. Другая, нежнейшая связь! Право, эта минута была для меня божественная; если можно слышать на земле голос Божий, то конечно, в эту минуту он мне послышался! С этим чувством все для меня переменялось, все отношения к тебе сделались другие, я почувствовал в душе необыкновенную ясность; то, чего я никогда не имел в жизни, вдруг сделалось моим; я увидел подле себя сестру и сделался другом, покровителем, товарищем ее детей; я готов был глядеть на маменьку другими глазами и, право, восхищался тем чувством, с каким бы называл ее сестрою, – ничего еще подобного не бывало у меня в жизни! Имя сестры в первый раз в жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готов был ее обожать; ни в ком, ни в ком (даже и в вас) не имела бы она такого неизменного друга, как во мне; до сих пор имя сестры меня только пугало, оно казалось мне разрушителем моего счастья; после совершенного пожертвования собою оно показалось мне самым лучшим утешением, совершенною всего заменою; боже мой, какая прекрасная жизнь мне представилась! Самое деятельное, самое ясное усовершенствование себя во всем добром! Можно ли, милый друг, изменить великому чувству, которое нас вознесло выше самих себя! Жизнь, освященная этим великим чувством, казалась мне прелестною! Если прежде, когда моя привязанность к тебе была непозволненною, я имел в иные минуты счастье; что же теперь, когда душа от всякого бремени облегчилась и когда я имею право быть довольным собою! Раз испытал прелесть пожертвования, можно ли разрушить самому эту прелесть! С этим великим чувством – как бы счастливо шли мои минуты! Вместо своего частного счастья иметь в виду общее, жить для него и находить все оправдание в своем сердце и в вашем уважении; быть вашим отцом (брат вашей матери имеет на это имя право), называть вас своими и заботиться о вашем счастье – чем для этого не пожертвуешь! И для этого я всем пожертвовал! Так, что и следу бы не осталось скоро в душе моей! Даже

⁵ Франсуа Фенелон, маркиз де Ла Мот-Фенелон – французский священнослужитель, писатель, педагог, богослов, автор знаменитого романа «Приключения Телемака» – литературного бестселлера XVIII–XIX веков.

в первую минуту я почувствовал, что над собою работать нечего, – стоило только понять меня; подать мне руку сестры! Стоило ей только вообразить, что брат ее встал из гроба и просится опять в ее дом, или лучше вообразить, что ваш отец жив и что он с полною к вам любовью хочет с вами быть опять на свете. С этими счастливыми, скажу смело – добродетельными чувствами, соединялась и надежда вести самый прекрасный образ жизни. Осмотревшись в Дерпте, я уверен, что здесь работал бы я так, как нигде нельзя работать, – никакого рассеяния, тьма пособий и ни малейшей заботы о том, чем бы прожить день, и при всем этом первое, единственное мое счастье – семья. С таким чувством пошел я к ней, к *моей сестре*. Что же в ответ? Расстаться! Она уверяет меня, что не от недоверчивости, а для сохранения твоей и ее репутации! Милая, эта последняя причина должна бы удержать ее еще в Муратове. Там можно было того же бояться, чего и здесь. Но в Муратове она решилась возвратити меня, несмотря на то, что в своих письмах я говорил совсем противное тому, что теперь говорю и чувствую, нет! эта причина несправедливая! Или должно было меня еще остановить в Москве! И теперь в ту самую минуту, когда я только думал начать жить прекраснейшим образом, все для меня разрушено! Я не раскаиваюсь в своем пожертвовании – можно ли раскаяться когда-нибудь в том, что возвышает душу! Но я надеялся им заплатить за счастье, и я был бы истинно счастлив, если бы она только этого захотела! Если бы она прямо мне поверила; если бы поняла, как чисто и свято то чувство, которым я был наполнен. Что же дают мне за то счастье, которого я требовал? Самую печальную жизнь без цели и прелести! Служить – спрашиваю, для каких выгод? Отказаться от всякого занятия? В Петербурге я не мог бы заниматься, если бы и имел состояние! Убийственное рассеяние утомило бы душу! <...>

Голос брата не дошел до ее сердца! Чтобы тронуть его, я, видно, не имею никакого языка! Я сделаюсь дорог тогда разве, когда меня не будет на свете! Этот страх расстроить репутацию есть только придирка! Почему же он теперь именно, когда все причины к недоверчивости совершенно разрушились, пришел в голову! Для чего вырвать меня из Долбина? Само по себе разумеется, что против этой причины я не мог ничего сказать! Я готов во всяком случае быть за тебя жертвою, но надобно, чтобы жертва была необходима! Здесь – каких толков бояться? Кто подаст к ним повод? А прежние толки пропадут сами собою! Да я первый все усилия употреблю, чтобы все привести в порядок! Между тем мы были бы счастливы, счастливы в своей семье, и свидетель был бы у нас Бог! О, как бы весело было помогать друг другу вести жизнь добродетельную! Я чувствую, я уверен, что было бы легко и что мне даже и усилий никаких не было бы нужно делать над собою! Теперь что мне осталось? Начинать новую жизнь без цели, без бодрости, и за каким счастьем гнаться? Так и быть! Все в жизни к прекрасному средство! Но сердце ноет, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили.

29 марта 1815 г. Дерпт

Василий Жуковский – Марии Протасовой

Милый друг, надобно сказать тебе что-нибудь в последний раз. У тебя много останется утешения; у тебя есть добрый товарищ: твоя смиренная

покорность Провидению. Она у тебя не на словах, а в сердце и на деле. Что могу сказать тебе утешительнее того, что скажет тебе лучшая душа, какая только была на свете, твой Фенелон, которого ты понимать можешь. Я благодарю тебя за то, что ты его мне вчера присылала. Теперь знаю, что у тебя есть неразлучный товарищ, и такой, который всегда умеет дать твердость, надежду и ясность. Я знаю теперь, что каждый день доставит тебе прекрасную минуту. Стоит только войти в себя, поговорить с добрым, нелестливым другом, и все, что вокруг тебя, примет другой вид. Читай же эту книгу беспрестанно. В дополнение к Фенелону пришлю тебе Массильона⁶. Теперь чтение для тебя не занятие, а жизнь и усовершенствование сердца и мыслей. Пусть это чтение напоминает тебе обо мне, о человеке, который желал быть твоим товарищем во всем добром. Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты мне давала лучшие намерения, что все лучшее во мне было соединено с привязанностью к тебе, что, наконец, тебе же я был обязан самым прекрасным движением сердца, которое решилось на жертвование тобою, – опыт, самый благодетельный на всю жизнь; он уверяет меня, что лучшие минуты в жизни те, в которые человек забывает себя для добра и забывает не на одну минуту. Сама можешь судить, что в этом воспоминании о тебе заключены будут все мои должности. Пропади оно – я все потеряю. Я сохраню его как свою лучшую драгоценность. Я веряю себя этому воспоминанию и, право, – не боюсь будущего. Что может теперь в жизни сделаться ужасного для меня, собственно? Во всех обстоятельствах я буду стараться быть таким же, каков теперь. Обстоятельства – дело Провидения. Мысли и чувства в этих обстоятельствах – вот все, что мы можем. И в этом-то постараюсь быть тебя достойным. Впрочем, останемся беззаботны. Все в жизни к прекрасному средство! Я прошу от тебя только одного – не позволяй тобою жертвовать и заботься о своем счастье. Этим ты мне обязана. Я желал бы, чтобы ты более имела свободы заниматься собственным. Выпроси у маменьки несколько часов в дни для чтения – в этом чтении прямая твоя жизнь. Но не читай ничего, что бы было только для пустого развлечения. Малое, но питательное для такого сердца, как твое. Меня утешает теперь мысль, что маменька будет должна теперь к тебе более прежнего привязаться. Против остального – терпение и твердость. Мои тетрадки сбереги. В них нечего переменять, кроме разве одного – везде сестра. Помни же своего брата, своего истинного друга. Но помни так, как он того требует, то есть знай, что он, во все минуты жизни, если не живет, то, по крайней мере, желает жить так, как велит ему его привязанность к тебе, теперь вечная и более, нежели когда-нибудь, чистая и сильная.

Об Воейкове скажу только одно слово. Мне ему прощать нечего. Слепому человеку нужно ли прощать его слепоту? Но каким же убеждением можно заставить себя верить, что он зрячий. Человек, который имеет полную власть осчастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этому простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною нет ничего общего. Я...

⁶ Жан-Батист Массийон (*устар.* Массильон) – французский проповедник XVIII века.

<Две строчки зачеркнуты.> ...Ты мне напомнишь: все к жизни к великому средство! Дай мне способ сделать ему добро: я его сделаю. Но называть белое черным и черное белым и уважать и показывать уважение к тому, что... *<Несколько слов зачеркнуто.>* в этом нет величия; это притворство перед собою и другими.

В этом письме мне не должно бы было говорить о Воейкове. Но должно было отвечать на твое письмо. Я никак не ожидал, чтобы мое пожертвование было так принято. Нет! Меня хотят лишиться всякого счастья! Но ты не бойся! Жизнь моя будет тебя стоить! Выключая наперед из нее минуты унылости и сомнения, все прочее будет так, как тебе надобно. Тургенев зовет меня к себе, мы будем жить вместе. У меня есть семья друзей и твое уважение. Я богат. Остальное – Провидению. Дурного быть не может, если сам не будешь дурен. А у меня есть верная защита от всего: воспоминание и perseverance.

Я бы желал, чтобы ты написала мне поболее.

Это было написано вчера поутру. Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я все потерял.

К сожалению, с течением времени в позиции Екатерины Афанасьевны ничего не менялось. Она подчеркнута холодно общалась с поэтом.

А что же сама Мария Протасова? Любила ли она Жуковского? Да. Но она любила и «свою маменьку», понимая при этом, что маменька ей «много сделала несчастливых минут». К тому же Воейков вдруг принялся устраивать дикие сцены ревности. Он даже обещал Екатерине Афанасьевне убить Жуковского, а потом зарезать себя. После ужина он обычно бывал пьян. Единственным избавлением от «тирании Воейкова» могло стать замужество, и выбор Маши, не посмевшей пойти против воли матери, пал на человека достойного во всех отношениях. Но то был не Жуковский...

«Выбор» Марии пал на дерптского хирурга и профессора университета Ивана Филипповича Мойера (Иоганна Мойера). Организовавшая все Екатерина Афанасьевна находила в Мойере лишь один недостаток – он не был дворянином. Брак был объявлен делом решенным, и Жуковский, как внутренне ни был готов к такому исходу, пережил сильнейшее потрясение.

27 ноября 1815 г. Санкт-Петербург

Василий Жуковский – Марии Протасовой

Ты хочешь говорить с мною как с *отцом*. Если это имя не пустое слово, написанное без всякого особенного смысла, то это значит, что мое мнение для тебя так же важно, как мнение отца. Милый друг, ты мне поверишь, когда скажу тебе, что могу без всякого эгоизма думать о твоем счастье и желать его. Итак, я буду говорить как отец, которому все то известно, что делается в сердце у дочери, который на этот счет не хочет обманывать ни себя, ни других, который желает счастья своей дочери для нее, который, думая об ее счастье, не понимает под ним одного собственного спокойствия. Послушай, мой милый друг, если бы твое письмо написано было хотя полгодом позже, я бы подумал, что время что-нибудь сделало над твоим сердцем и что привязанность к Мойеру, произведенная свычкою, помогла времени; я бы поверил тебе и подумал бы, что ты действуешь по собственному, свободному побуждению; я бы поверил твоему счастью.

Но давно ли мы расстались? Нет трех недель, как мое последнее письмо было написано к маменьке! Ты знаешь то, что я чувствовал к тебе, а я знаю, что ты ко мне чувствовала, – могла ли, скажи мне, произойти в тебе та перемена, которая необходимо нужна для того, чтобы ты имела право перед собою решиться на такой важный шаг? Мойеру уже было один раз отказано! Он, вероятно, не делал новых предложений! С чего же пришла тебе *самой* мысль за него идти? Тебе, которая говорила, что для тебя никакого другого счастья не надобно, кроме свободы, неразлучности с маменькой и спокойствия в семье твоей? Нет, милый друг, не ты сама на это решилась! Тебя решили, с одной стороны, требования и упреки, с другой – грубости и жестокое притеснение! Не давши времени твоей душе придти в себя, от тебя требуют последнего пожертвования на целую жизнь, называя это пожертвование твоим же счастьем и даже не принимая его за пожертвование! <...> Основываясь на письме твоём, скажут, что ты всего сама желала, что сделали тебе угодное, и до того, что у тебя в сердце, нет дела. Это видит один Бог, а не люди! Одним словом, ты бросаешься в руки Мойеру потому, что тебе другого нечего делать! Тебя тащут туда насильно, и еще ты же должна говорить, что ты счастлива! А я вслед за тобою, как твой отец, говорить то же! Нет! Как твой отец, я не могу на это *теперь* согласиться. Если бы я был твой отец не на словах, а на деле, если бы это имя не было мне дано как самое оскорбительное доказательство совершенного бессилия сделать что-нибудь для твоего счастья, я бы поступил иначе; зная твое состояние, я бы прежде всего старался дать тебе время успокоить свое сердце, я бы не стал, как самовластный деспот, располагать всею судьбою твоей жизни; не пожертвовал бы ею *своему* спокойствию, своей прихоти. Зная в своей совести, что я сам причиною всего, что с тобою было, я не вздумал бы к твоему несчастью, мною самим сделанному, прибавить другого, совершенно неизгладимого; я бы заменил для тебя то, что у тебя отнял, произвольно или принужденно, до того нет дела; подле меня нашла бы ты все вознаграждения за потерянное; я не дал бы в семье своей делать тебе жестоких неприятностей, принуждающих тебя все забыть, на все решиться, чтобы после во всем раскаиваться: одним словом, я был бы твой отец, утешитель, товарищ! Не думал бы об одном себе! Ты была бы свободна, спокойна; время все бы исправило! Тогда без принуждения, без всякого упрека совести, ты выбрала бы для себя счастье верное, то есть хорошее променяла бы на лучшее и не была бы жертвою моей прихоти, моего эгоизма; и я был бы счастлив, потому что был бы тогда уверен в твоем счастье! Так бы я поступил, если бы был твой отец или твоя мать. Но теперь кто уверит меня, что ты поступаешь свободно?

28 ноября 1815 года (Санкт-Петербург)

Василий Жуковский – Марии Протасовой

Ты хочешь дать мне свое место в семье твоей матери. Нет, Маша! Я просил тебя тысячу раз: не думай обо мне, заботься о своем счастье! Будь счастлива для себя, тогда и все мое желание исполнится. Мне занять твое место! Прошу на этот счет не обманываться! <...> Я совершенно отказался от невозможного. И твоей матери нечего бояться! Если она думает, что я жду

смерти ее, чтобы возобновить все, – этот страх напрасен! Для ее успокоения ты можешь дать ей какую хочешь клятву, а я не захочу никогда взять руки твоей на гробе твоей матери. Она сделала из меня какое-то чудовище, которого боится, и этот страх даже ее самое приводит к преступлению. Если замужеством своим ты надеешься дать мне семейное счастье и возвратить меня в свою семью – эта надежда совершенно пустая. Я был бы истинным другом, истинным братом твоей матери и еще остался бы ей благодарен, когда бы видел, что она, разделив и твое и мое горе, облегчила бы его всем, что от нее зависит, – думая единственно, как бы утешить тебя и тебе дать совершенное спокойствие. Твое счастье было бы величайшим ее благодеянием и мне. Мы были бы розно <...> но это розно не разорвало бы дружбы; у нас было бы одно – твое счастье! И как легко его сделать – быть просто матерью, другом и утешителем, а не притеснителем, который всем готов жертвовать своему эгоизму. Пожертвовав собою, не думай из меня сделать ей друга – этим не заманишь меня в ее семью! Скорей соглашусь двадцать раз себе разбить голову, нежели искать места в этой семье! Какими глазами буду смотреть на нее! Какое чувство буду иметь к ней в своем сердце! Я не постигаю, как могла придти тебе в голову такая мысль и за кого ты меня считаешь! Но скажи мне, чего она боится? За что хочет убить тебя? Неужели надеется найти в аптеках лекарство от твоих болезней, которые сама производит?

Одним словом, чтобы все кончить, я могу только согласиться на *твое счастье* – в этом пожертвовании я не вижу его; я не вижу его для тебя в замужестве, по крайней мере теперь его для тебя в замужестве быть не может. Разве забыла она своих двух сестер и своего брата? Разве забыла, что ты в начале этого месяца была при смерти? А что смерть пред тою жизнью, которую она тебе готовит! Она могла бы тебя осчастливить, а она тебя гонит от себя! Я не могу согласиться на замужество твое, *теперь* не могу!

И все же 14 января 1817 года Маша Протасова обвенчалась с Мойером. Жуковский нашел в себе силы приветствовать этот брак.

25 апреля 1817 г. Дерпт

Василий Жуковский – Ивану Тургеневу

Трудно было решиться, но минута, в которую я решился, сделала из меня другого человека, и, к несчастью, эта перемена сделалась слишком скоро. Я хлебнул из Леты и чувствую, что вода ее усыпительна. Душа смягчилась. К счастью, на ней не осталось пятна; зато бела она, как бумага, на которой ничто не написано. Это-то ничто – моя теперешняя болезнь, столь же опасная, как первая, и почти похожая на смерть <...> Мое теперешнее положение есть усталость человека, который долго боролся с сильным противником, но, боровшись, имел некоторую деятельность; борьба кончилась, но вместе с нею и деятельность. К этой деятельности душа моя привыкла: эта деятельность была до сих пор всему источником <...> Но не бойся! Я не упаду. По крайней мере, я надеюсь воскреснуть <...> Я смотрю на счастье, которое мне не принадлежит, спокойно; в те минуты, в которые способен я живо чувствовать, оно только радует меня, и никакое другое чувство не смешано с этою радостью. Но вообще нахожу в себе

равнодушие, для меня тяжелое, и это равнодушие – во мне самом; внешних причин искать не надобно. Оно похоже на сон, который производит иногда прекрасная музыка. Музыка моя молчит, и я сплю! Из этого сна должно непременно выйти!

В 1820 году Мария Андреевна сильно болела после первых тяжелых родов.

1 ноября 1820 г. Берлин

Василий Жуковский – Марии Мойер

Маша, милый друг, напиши мне о своем малютке. За неимением твоих писем перечитываю твою книжку и, кажется, слышу тебя: это бесценный подарок! Тут вся ты, мой милый друг и благодетельный товарищ. В твоём сердце ничто не пропало; еще, кажется, ты стала лучше; настоящая твоя жизнь, исполнение твоих должностей усовершенствовали тебя, и ничто не пропало в пустоте рассеяния. Читать твою книжку есть для меня оживать. *И много милых теней восстает.*

А 18 марта 1823 года Мария Андреевна, родив мертвого мальчика, скончалась. Жуковский, который незадолго до этого гостил у Мойеров и за десять дней до смерти Марии покинул Дерпт, не успел на ее похороны.

О том, как Жуковский переносил это горе, свидетельствует письмо А. П. Елагиной.

28 марта 1823 г. Дерпт

Василий Жуковский – Авдотье Елагиной

Кому могу уступить святое право, милый друг, милая сестра, я теперь вдвое против прежнего говорить с вами о последних минутах нашего земного Ангела, теперь небесного <...> Она с нами на все то время, пока здесь еще пробудем. Не вижу глазами ее, но знаю, что она с нами и более наша, – наша спокойная, радостная, товарищ души, прекрасный, удаленный от всякого страдания <...> Не будем говорить: ее нет! *C'est blasphemel⁷* Слезы льются, когда мы вместе и не видим ее между нами <...> Ее могила будет для нас местом молитвы <...> На этом месте одна только мысль о ее чистой, ангельской жизни, о том, что она была для нас живая, и о том, что она ныне для нас есть небо.

Последние дни ее были веселы и счастливы. Но не пережить родин своих было ей назначено, и ничто не должно было ее спасти. Положение младенца было таково, что она не могла родить счастливо; но она не страдала, и муки родин не сильные и не продолжительные. В субботу 17-го марта она почувствовала приближение решительной минуты; поутру были легкие муки – к обеду уже успокоилось <...> К вечеру сделались муки чаще, но и прежде и после их была потеря крови, и в ней-то причина смерти. Ребенок родился мертвый – мальчик. В минуту родин она потеряла память – пришла через несколько времени в себя; но силы истощились, и через полчаса все кончилось! Они все сидели подле нее, смотрели на ангельское спящее помолодевшее лицо, и никто не смел четыре часа признаться, что

⁷ Это богохульство! (фр.)

она скончалась. Боже мой! А меня не было! В эти минуты была вся жизнь, а я должен был их не иметь! Я должен был не видеть ее лица, ясного, милого, веселого, уверяющего в бессмертии, ободряющего на всю жизнь. Саша говорит, что она не могла на нее наглядеться.

Шесть лет после этого Жуковский не сочинял стихи, идущие из сердца, писал только заказанные царским двором дежурные строки. Какое-то время он жил в деревне со своими родными. Позже, перебравшись в Санкт-Петербург, он получил назначение преподавателя русской словесности для императрицы Александры Федоровны (тогда великой княгини). Когда наступила пора воспитывать ее сына, великого князя Александра Николаевича, Жуковский был избран в наблюдатели за преподаванием наук будущему Александру II. Во время поездок за границу для поправления здоровья он познакомился в Дюссельдорфе с дворянином Герхардом (Евграфом Романовичем) Рейтерном, в Отечественную войну 1812 года служившим в одном из русских полков и в сражении потерявшим правую руку. А познакомившись позже и с семейством Рейтернов, Жуковский встретил наконец свое семейное счастье.

В 58 лет Жуковский решился венчаться в православной церкви при русском посольстве в Штутгарте с 20-летней Елизаветой, старшей дочерью отставного полковника Рейтерна. Они соединили свои судьбы, когда было кончено воспитание его императорского высочества. Последние годы своей жизни Жуковский провел в кругу, избранном его сердцем, и Богу было угодно благословить его брак: у него родилась дочь Александра, а потом сын Павел.

Александр Грибоедов

Александр Сергеевич Грибоедов, автор знаменитой комедии «Горе от ума», был дипломатом и служил в 1822 году в Тифлисе, где часто посещал дом наместника Нахичеванской и Эриванской областей князя Александра Герсевановича Чавчавадзе. Они близко сошлись, ибо князь Александр сам был поэтом-романтиком и более других мог понять и оценить его. Кроме того, Грибоедов давал Нине, дочери князя, родившейся в 1812 году, уроки музыки. Вернувшись из Персии в 1828 году, Александр Сергеевич провел несколько месяцев в Тифлисе. Снова посетив дом друга, он был поражен красотой выросшей Нины. По воспоминаниям Н. Н. Муравьева-Карского, Грибоедов поначалу распускал слухи о своей влюбленности в Нину, чтобы позлить другого ее поклонника – Сергея Ермолова, сына знаменитого генерала. Но 16 июня 1828 года он решился признаться ей в любви, а затем получил согласие отца на брак.

22 августа (3 сентября) 1828 года влюбленные торжественно обвенчались в тифлисском соборе Сиони. Грибоедову было 33 года, а Нине – всего 15 лет.

Казалось бы, чего еще можно желать? Слава, значительность положения, радость семейной жизни – все это устроилось для Грибоедова в 1828 году. Но счастье продолжалось недолго: всего восемь месяцев.

Вскоре после свадьбы по служебной надобности Грибоедов был вынужден снова поехать в Персию. Молодая жена сопровождала его в пути до Тебриза, уже будучи беременной и часто болея. Не желая подвергать Нину тяготам опасного путешествия и жизни на чужбине, Грибоедов в декабре 1828 года отправился в Тегеран один, попрощавшись с женой и оставив ее в городе, где она прожила несколько месяцев.

В одном из редких писем из Тегерана Грибоедов посоветовал ей возвращаться в Тифлис, так как его миссия в Персии затягивалась. При содействии отца Нине удалось благополучно вернуться в Грузию.

*24 декабря 1828 г. Казбин
Сочельник*

Александр Грибоедов – Нине Чавчавадзе

Душенька. Завтра мы отправляемся в Тегеран, до которого отсюда четыре дни езды. Вчера я к тебе писал с нашим одним подданным, но потом расшел, что он не доедет до тебя прежде двенадцати дней, так же к m-me Macdonald, вы вместе получите мои конверты. Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда боле не разлучаться.

Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться. Для них я здесь даром прожил, и совершенно даром.

Дом у нас великолепный и холодный, каминов нет, и от мангалов у наших у всех головы пересохла.

Вчера меня угощал здешний визирь, Мирза Неби, брат его женился на дочери здешнего Шахзады, и свадебный пир продолжается четырнадцать дней, на огромном дворе несколько комнат, в которых угощение, лакомство,

ужин, весь двор покрыт обширнейшим полотняным навесом, вроде палатки, и богато освещен, в середине театр, разные представления, как те, которые мы с тобою видели в Табризе, кругом гостей человек до пятисот, сам молодой ко мне являлся в богатом убранстве. Однако, душка, свадьба наша была веселее, хотя ты не Шахзадинская дочь и я не знатный человек. Помнишь, друг мой неоцененный, как я за тебя сватался, без посредников, тут не было третьего. Помнишь, как я тебя в первый раз поцеловал, скоро и искренно мы с тобой сошлись, и навеки. Помнишь первый вечер, как маменька твоя и бабушка и Прасковья Николаевна сидели на крыльце, а мы с тобою в глубине окошка, как я тебя прижимал, а ты, душка, раскраснелась, я учил тебя, как надобно целоваться крепче и крепче. А как я потом воротился из лагеря, заболел, и ты у меня бывала. Душка!..

Когда я к тебе ворочусь! Знаешь, как мне за тебя страшно, все мне кажется, что опять с тобою то же случится, как за две недели перед моим отъездом. Только и надежды, что на Дереджану, она чутко спит по ночам и от тебя не будет отходить. Поцелуй ее, душка, и Филиппу и Захарию скажи, что я их по твоему письму благодарю. Если ты будешь ими довольна, то я буду уметь и их сделать довольными.

Давеча я осматривал здешний город, богатые мечети, базар, караван-сарай, но все в развалинах, как вообще здешнее государство. На будущий год, вероятно, мы эти места вместе будем проезжать, и тогда все мне покажется в лучшем виде.

Прощай, Ниночка, ангельчик мой. Теперь 9 часов вечера, ты, верно, спать ложишься, а у меня уже пятая ночь, как вовсе бессонница. Доктор говорит, от кофею. А я думаю, совсем от другой причины. Двор, в котором свадьбу справляют, недалеко от моей спальни, поют, шумят, и мне не только не противно, а даже кстати, по крайней мере, не чувствую себя совсем одиноким. Прощай, бесценный друг мой, еще раз, поклонись Агалобеку, Монтису и прочим. Целую тебя в губки, в грудь, ручки, ножки и всю тебя от головы до ног. Грустно.

Весь твой А. Гр.

Завтра Рождество, поздравляю тебя, миленькая моя, душка. Я виноват (сам виноват и телом), что ты большой этот праздник проводишь так скучно, в Тифлисе ты бы веселилась. Прощай, мои все тебе кланяются.

А в начале 1829 года Нина узнала о разгроме русской миссии в Тегеране толпой фанатиков и об убийстве мужа (это от нее пытались скрыть, опасаясь за ее здоровье). Страшные новости привели к преждевременным родам и смерти ребенка.

Что же произошло?

30 января (11 февраля) 1829 года в русской дипломатической миссии устроили резню исламские фанатики, среди погибших оказался и глава миссии, Александр Сергеевич Грибоедов.

Основной задачей Грибоедова было добиться от шаха выполнения статей мирного договора, и в частности, выплаты контрибуции по итогам Русско-персидской войны. Кроме того, начиная с января 1829 года, в посольстве находили убежище армяне, просившие Грибоедова о помощи в возвращении на родину, которая к тому времени стала частью Российской империи. Несмотря на возможность опасных последствий для себя и посольства в целом, Грибоедов разрешил армянам укрыться в посольстве. Именно это и послужило причиной

для недовольства исламских фанатиков, которые начали настраивать население против русских на базарах и в мечетях.

В результате толпа тегеранцев, возглавляемая людьми Аллаяр-хана, напала на русское посольство. Зачинщики беспорядков быстро потеряли контроль над толпой. Охрана русской миссии, состоявшая из 35 казаков, оказала сопротивление, но силы были неравны. Град камней все усиливался, и Грибоедов напрасно старался обращаться к народу: «никакой голос не мог бы быть внятным в такую страшную суматоху».

Из всей русской миссии спасся лишь секретарь И. С. Мальцов, сумевший спрятаться во время резни (он завернулся в ковер в углу комнаты, где стояли другие свернутые ковры).

Александр Пушкин

Весной 1820 года Александра Сергеевича Пушкина, работавшего в Коллегии иностранных дел, но при этом уже известного поэта, написавшего стихи «К Чаадаеву», «Вольность» и работавшего над поэмой «Руслан и Людмила», отправили за его едкие эпиграммы из столицы на юг, в кишиневскую канцелярию генерала И. Н. Инзова. А в 1824 году он был сослан в имение своей матери, в Михайловское.

Александр Сергеевич очень тяготился очередной ссылкой и самовольно покинул Михайловское, решив, что пришла ему пора жениться. В 1828 году он посватался к молодой Анне Олениной, но получил отказ: родители не хотели, чтобы их дочь вышла замуж за «гуляку праздного» (пусть и признанного поэта), который к тому же был под надзором полиции. Отказали Пушкину и в других местах, где он пытался искать счастья.

Вскоре Пушкин посватался к бесприданнице Наталье Николаевне Гончаровой, которую встретил в декабре 1828 года на балу.

В апреле следующего года он попросил ее руки, но и тут не нашел понимания.

Конец августа 1830 г. Москва

Александр Пушкин – Наталье Гончаровой

Я отправляюсь в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша мать решила расторгнуть нашу помолвку, а вы согласны повиноваться ей, я подпишусь под всеми предложениями, какие ей будет угодно выставить мне, даже и в том случае, если они будут настолько же основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было меня осыпать.

Может быть, она права, а я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам или никогда не жениться.

Через год Пушкин вторично сделал предложение, и лишь тогда согласие на брак было получено. Венчание состоялось 18 февраля (2 марта) 1831 года. Оно произошло в московской церкви Большого Вознесения, что до сих пор стоит у Никитских Ворот. Говорят, при обмене кольцами кольцо Пушкина упало на пол, а потом у него погасла свеча, а это, как известно, плохие предзнаменования...

Осенью 1831 года Пушкины переехали в Санкт-Петербург и поселились в доме на Галерной улице. Красота Натальи Николаевны произвела впечатление в обществе, и поэт поначалу очень гордился светскими успехами своей жены.

19 мая 1832 года Наталья Николаевна родила дочь Марию, а 6 июля 1833 года – сына Александра.

17 апреля 1834 г. Из Петербурга в Москву

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Что, женка? Каково ты едешь? Что-то Сашка и Машка? Христос с вами! Будьте живы и здоровы и доезжайте скорее до Москвы. Жду от тебя письма из Новгорода. <...> Поутру сидел я в моем кабинете, читая

Гримма и ожидая, чтоб ты, мой ангел, позвонила, как явился ко мне Соболевский с вопросом, где мы будем обедать? Тут вспомнил я, что я хотел говеть, а между тем уж оскормился. Делать нечего; решились отобедать у Дюме⁸; и покамест стали приводить в порядок библиотеку. Тетка приехала спросить о тебе и, узнав, что я в халате и оттого к ней не выхожу, сама вошла ко мне – я исполнил твою комиссию, поговорили о тебе, потужили, побеспокоились; и решились тебе подтвердить наши просьбы и требования – беречь себя и помнить наши наставления. Потом явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселие: холостой, холостой Пушкин! Стали потчевать меня шампанским и пуншем и спрашивать, не поеду ли я к Софье Остафьевне? Все это меня смутило, так что я к Дюме являться уж более не намерен и обедаю сегодня дома, заказав Степану ботвинью и beafsteaks. Вечер провел я дома, сегодня проснулся в семь часов и стал тебе писать сие подробное донесение.

19 апреля 1834 г. Из Петербурга в Москву

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Душка моя, посылаю тебе два письма, которые я распечатал из любопытства и скупости (чтоб меньше платить на почту весовых денег), также и рецепт капель. Сделай милость, не забудь перечитать инструкцию Спасского и поступать по оной. Теперь, женка, должна ты быть уже около Москвы. Чем дальше едешь, тем тебе легче; а мне!.. Сестры твои тебя ждут; воображаю вашу радость; смотри, не сделайся сама девочкой, не забудь, что уж у тебя двое детей, третьего выкинула, береги себя, будь осторожна; пляши умеренно, гуляй понемножку, а пуше скорее добирайся до деревни. Целую тебя крепко и благословляю всех вас. Что Машка? Чай, куда рада, что может вволю воевать! Теперь вот тебе отчет о моем поведении. Я сижу дома, обедаю дома, никого не вижу, а принимаю только Соболевского. Третьего дня сыграл я славную штуку со Львом Сергеевичем⁹. Соболевский, будто ненарочно, зовет его ко мне обедать. Лев Сергеевич является. Я перед ним извинился как перед гастрономом, что, не ожидая его, заказал себе только ботвинью да beafsteaks. Лев Сергеевич тому и рад. Садимся за стол; подают славную ботвинью; Лев Сергеевич хлебает две тарелки, утирает осетрину, наконец требует вина; ему отвечают, нет вина. – Как, нет? – Александр Сергеевич не приказал на стол подавать. И я объявляю, что с отъезда Натальи Николаевны я на диете – и пью воду. Надобно было видеть отчаяние и сардонический смех Льва Сергеича, который уже ко мне, вероятно, обедать не явится. Во все время Соболевский подливал себе воду то в стакан, то в рюмку, то в длинный бокал – и потчевал Льва Сергеича, который чинился и отказывался. Вот тебе пример моих невинных упражнений. С нетерпением ожидаю твоего письма из Новагорода <...> Покамест – прощай, ангел мой.

⁸ Ресторан в Санкт-Петербурге, открытый в начале 1820-х годов французом Андриэ (бывшим наполеоновским военнопленным 1812 года, оставшимся в России). В конце 1820-х годов Андриэ вернулся на родину и владельцем заведения стал его соотечественник Дюме, а с середины 1830-х годов – вдова последнего. «У Дюме» собирались знатоки французской кухни, устраивались званые обеды. В этом ресторане Пушкин в 1834 году познакомился с Дантесом.

⁹ Лев Сергеевич Пушкин – младший брат А. С. Пушкина и его литературный секретарь.

Целую вас и благословляю. Вчера был у нас первый гром – слава богу, весна кончилась.

*20 и 22 апреля 1834 г. Из Петербурга в Москву
Пятница*

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Ангел мой женка! Сейчас получил я твое письмо из Бронниц – и сердечно тебя благодарю. С нетерпением буду ждать известия из Торжка. Надеюсь, что твоя усталость дорожная пройдет благополучно и что ты в Москве будешь здорова, весела и прекрасна. Письмо твое послал я тетке, а сам к ней не отнес, потому что репортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет. Теперь полно врать; поговорим о деле; пожалуйста, побереги себя, особенно сначала; не люблю я Святой недели в Москве; не слушайся сестер, не таскайся по гуляниям с утра до ночи; не пляши на бале до заутрени. Гуляй умеренно, ложись рано. Отца не пускай к детям, он может их испугать и мало ли что еще. Пуще береги себя во время регул – в деревне не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе воображения, женка. Кокетничать позволяю, сколько душе угодно. Верхом ездить не на бешеных лошадях <...> Сверх того прошу не баловать ни Машку, ни Сашку и, если ты не будешь довольна своей немкой или кормилицей, прошу тотчас прогнать, не совестясь и не церемонясь.

Воскресение

Христос воскрес, моя милая женка, грустно, мой ангел, грустно без тебя. Письмо твое мне из головы нейдет. Ты, мне кажется, слишком устала. Приедешь в Москву, обрадуешься сестрам; нервы твои будут напряжены, ты подумаешь, что ты здорова совершенно, целую ночь простишь у всеночной, и теперь лежишь враспяжку в истерике и лихорадке. Вот что меня тревожит, мой ангел. Так, что голова кругом идет и что ничто другое в ум не лезет. Дождусь ли я, чтоб ты в деревню удрала! Нынче великий князь присягал; я не был на церемонии, потому что репортуюсь больным, да и в самом деле не очень здоров. Кочубей сделан канцлером; множество милостей; шесть фрейлин, между прочими твоя приятельница Натали Оболенская, а наша Машенька Вяземская все нет. Жаль и досадно. Наследник был очень тронут; государь также. Вообще, говорят, все это произвело сильное действие. С одной стороны, я очень жалею, что не видел сцены исторической и под старость нельзя мне будет говорить об ней как свидетелю. Еще новость: Мердер умер; это еще тайна для великого князя и отравит его юношескую радость. Аракчеев также умер. Об этом во всей России жалею я один

– не удалось мне с ним свидеться и наговориться. Тетка подарила мне шоколадный бильярд – прелесть. Она тебя очень целует и по тебе хандрит. Прощайте, все мои. Христос воскрес, Христос с вами.

30 апреля 1834 г. Из Петербурга в Москву

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Жена моя милая, женка мой ангел – я сегодня уж писал тебе, да письмо мое как-то не удалось. Начал я было за здравие, да свел за упокой. Начал нежностями, а кончил плюхой. Виноват, женка. Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Прощаю тебе бал у Голицыной и поговорю тебе о бале вчерашнем, о котором весь город говорит и который, сказывают, очень удался. Ничего нельзя было видеть великолепнее. Было и не слишком тесно, и много мороженого, так что мне бы очень было хорошо. Но я был в народе, и передо мною весь город проехал в каретах (кроме поэта Кукольника, который проехал в каком-то старом фургоне, с каким-то оборванным мальчиком на запятках; что было истинное поэтическое явление). О туалетах справлюсь и дам тебе знать. Я писал тебе, что у меня в клобе украли деньги; не верь, это низкая клевета: деньги нашлись и мне принесены. Напрасно ты думаешь, что я в лапах у Соболевского и что он пакостит твои мебели. Я его вовсе не вижу, а подружился опять с Sophie Karantzine. Она сегодня на свадьбе, у Бакуниной. Есть еще славная свадьба: Воронцов женится – на дочери К. А. Нарышкина, которая и в свет еще не выезжает. Теперь из богатых женихов остался один Новомленский, ибо Сорохтин, ты говоришь, умре. Кого-то выберет он? Александру ли Николаевну или Катерину Николаевну? Как думаешь? Это письмо, вероятно, получишь ты уже в Яропольце <...>

Прощай, жена, целую и благословляю тебя и вас.

А.П.

Около 5 мая 1834 г. Из Петербурга в Ярополец

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Что это, жена? Вот уже пять дней как я не имею о тебе известия. Надеюсь, что хлопоты отъезда и приезда одни помешали тебе ко мне писать и что ты и дети здоровы. Пишу к тебе в Ярополец. Не знаю, куда отправить тебе деньги, в Москву ли, в Волоколамск ли, в Калугу ли? На днях на что-нибудь решусь. Что тебе сказать о себе: жизнь моя очень однообразна. Обедаю у Дюме часа в два, чтоб не встретиться с холостою шайкою. Вечером бываю в клобе. Вчера был у княгини Вяземской, где находилась и твоя графиня Соллогуб. Оттуда поехал я к Одоевскому, который едет в Ревель. Тетку вижу часто, она беспокоится, что давно нет об тебе известия. Погода у нас славная, а у вас, вероятно, еще лучше. Пора тебе в деревню на лекарство, на ванны и на чистый воздух.

12 мая 1834 г. Из Петербурга в Ярополец

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Какая ты дура, мой ангел! конечно я не стану беспокоиться оттого, что ты три дня пропустишь без письма, так точно как я не стану ревновать, если ты три раза сряду провальсируешь с кавалергардом. Из этого еще не следует, что я равнодушен и не ревнив. Я отправил тебя из Петербурга с большим беспокойством; твое письмо из Бронницы еще более меня взволновало. Но когда узнал я, что до Торжка ты доехала здорова, у меня гора с сердца свалилась, и я не стал сызнова хандрить. Письмо твое очень мило; а опасения насчет истинных причин моей дружбы к Софье Карамзиной очень приятны для моего самолюбия. Отвечаю на твои запросы: Смирнова не бывает у Карамзинных, ей не всташить брюха на такую лестницу; кажется, она уже на даче; графиня Соллогуб там также не бывает, но я видел ее у княгини Вяземской. Волочиться я ни за кем не волочусь. У меня голова кругом идет. Не рад жизни, что взял имение, но что ж делать? Не для меня, так для детей. Тетка вчера сидела у меня, она тебя целует. Вчера был большой парад, который, говорят, не удался. Царь посадил наследника под арест. Сюда ожидают прусского принца и много других гостей. Надеюсь не быть ни на одном празднике. Одна мне и есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое.

16 мая 1834 г. Из Петербурга в Ярополец

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Давно, мой ангел, не получал я от тебя писем. Тебе, видно, было некогда. Теперь, вероятно, ты в Яропольце и уже опять собираешься в дорогу. Такая тоска без тебя, что того и гляди приеду к тебе. Говорил я со Спасским о Пирмонтских водах; он желает, чтобы ты их принимала; и входил со мною в подробности, о которых по почте не хочу тебе писать, потому что не хочу, чтоб письма мужа к жене ходили по полиции. Пиши мне о своем здоровье и о здоровье детей, которых целую и благословляю.

18 мая 1834 г. Из Петербурга в Ярополец

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Мой ангел! Поздравляю тебя с Машиним рождением, целую тебя и ее. Дай бог ей зубков и здоровья. Того же и Саше желаю, хоть он не именинник. Ты так давно, так давно ко мне не писала, что несмотря на то, что беспокоиться по-пустому я не люблю, но я беспокоюсь. Я должен был из Яропольца получить по крайней мере два письма. Здорова ли ты и дети? Спокойна ли ты? Я тебе не писал, потому что был зол – не на тебя, на других. Одно из моих писем попало полиции и так далее. Смотри, женка: надеюсь, что ты моих писем списывать никому не дашь; если почта распечатала письмо мужа к жене, так это ее дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом; но если ты виновата, так это мне было бы больно. Никто не должен знать,

что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни. Я пишу тебе, не для печати; а тебе нечего публику принимать в наперсники. Но знаю, что этого быть не может; а свинство уже давно меня ни в ком не удивляет.

Вчера я был в концерте, данном для бедных в великолепной зале Нарышкина, в самом деле великолепной. Как жаль, что ты ее не видала. Пели новую музыку Вьельгорского на слова Жуковского. Я никого не вижу, нигде не бываю; принялся за работу и пишу по утрам. Без тебя так мне скучно, что поминутно думаю к тебе поехать, хоть на неделю. Вот уж месяц живу без тебя; дотяну до августа; а ты себя береги; боюсь твоих гуляний верхом. Я еще не знаю, как ты ездешь; вероятно, смело; да крепко ли на седле сидишь? Вот запрос. Дай бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых! Да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! Неприятна зависимость; особенно, когда лет 20 человек был независим. Это не упрек тебе, а ропот на самого себя. Благословляю всех вас, детушки.

3 июня 1834 г. Из Петербурга в Полотняный завод

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Что это, мой друг, с тобою делается? Вот уж девятый день, как не имею о тебе известия. Это меня поневоле беспокоит. Положим: ты выезжала из Яропольца, все-таки могла иметь время написать мне две строчки. Я не писал тебе потому, что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство <...> Начала ли ты железные ванны? есть ли у Маши новые зубы? и каково перенесла она свои первые? У меня, отгадай, кто теперь остановился? Сергей Николаевич, который приехал было в Царское Село к брату, но с ним побранился и принужден был бежать со всем багажом. Я очень ему рад. Шашки возобновились. <...> Я большею частию дома и в клобе. Веду себя порядочно, только то нехорошо, что расстроил себе желудок; и что желчь меня так и волнует. Да от желчи здесь не убережешься. Новостей нет, да хоть бы и были, так не сказал бы. Целую всех вас, Христос с вами. Отец и мать на днях едут в деревню; а я хлопочу. Лев ходит пешком в Царское Село, а Соболевский в Ораниенбаум. Видно, им делать нечего. Прощай, мой ангел. Не сердись на холодность моих писем. Пишу скрепя сердце.

8 июня 1834 г. Из Петербурга в Полотняный завод

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Милый мой ангел! Я было написал тебе письмо на четырех страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебе не послал, а пишу другое. У меня решительно сплин. Скучно жить без тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать

тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни.

Благодарю тебя за весы, роскошную вывеску моей скупости. Мне прислала их тетка без записки. Вероятно, она теперь в хлопотах и готовится Наталью Кирилловну к вести о смерти князя Кочубея, который до вас не доехал, как имел намерения, и умер в Москве. Денег тебе еще не посылаю. Принужден был снарядить в дорогу своих стариков. Теряют меня без милосердия. Вероятно, послушаюсь тебя и скоро откажусь от управления имения. Пускай они его коверкают как знают; на их век станет, а мы Сашке и Машке постараемся оставить кусок хлеба. Не так ли? Новостей нет <...> Петербург пуст, все на дачах. Я сижу дома до четырех часов и пишу. Обедаю у Дюме. Вечером в клубе. Вот и весь мой день. Для развлечения вздумал было я в клубе играть, но принужден был остановиться. Игра волнует меня – а желчь не унимается. Целую вас и благословляю. Прощай. Жду от тебя письма об Яропольце. Но будь осторожна... вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность.

11 июня 1834 г. Из Петербурга в Полотняный завод

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Нашла за что браниться!.. За Летний сад и за Соболевского. Да ведь Летний сад мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома. А Соболевский? Соболевский сам по себе, я сам по себе. Он спекуляции творит свои, а я свои. Моя спекуляция удрать к тебе в деревню. Что ты мне пишешь о Калуге? Что тебе смотреть на нее? Калуга немного гаже Москвы, которая гораздо гаже Петербурга. Что же тебе там делать? Это тебя сестры баламутят, и верно уж моя любимая. Это на нее весьма похоже. Прошу тебя, мой друг, в Калугу не ездить. Сиди дома, так будет лучше. Тетка на даче, а я у ней еще не был. Еду сегодня с твоими письмами <...> Сегодня едут мои в деревню, и я их иду проводить, до кареты, не до Царского Села, куда Лев Сергеевич ходит пешечком. Уж как меня теребили; вспомнил я тебя, мой ангел. А делать нечего. Если не возьмется за имение, то оно пропадет же даром, Ольга Сергеевна и Лев Сергеевич останутся на подножном корму, а придется взять их мне же на руки, тогда-то заплачусь и заплачусь, а им и горя мало. Меня же будут цыганить. Ох, семья, семья!

Пожалуйста, мой друг, не ездь в Калугу. С кем там тебе знаться? С губернаторшей? Она очень мила и умна; но я никакой не вижу причины тебе ехать к ней на поклон. С невестой Дмитрия Николаевича? Вот это дело другое. Ты слади эту свадьбу, а я приеду в отцы посаженные. Напиши мне, женка, как поживала ты в Яропольце, как ладила с матушкой и с прочими.

Надеюсь, что вы расстались дружески, не успев поссориться и приревновать друг к другу <...> Прощай, жена. У меня на душе просветлело. Я два дня сряду получил от тебя письма и помирился от души с почтою и полицией. Черт с ними. Что делают дети? Благословляю их, а тебя целую.

*Около (не позднее) 19 июня 1834 г.
Из Петербурга в Полотняный завод*

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Грустно мне, женка. Ты больна, дети больны. Чем это все кончится, бог весть. Здесь меня теребят и бесят без милости. И мои долги и чужие мне покоя не дают. Имение расстроено, и надобно его поправить, уменьшая расходы, а они обрадовались и на меня надели. То – то, то другое. Вот тебе письмо Спасского. Если ты здорова, на что тебе ванны. Тетку видел на днях. Она едет в Царское Село. Прощай, женка.

А.П.

30 июня 1834 г. Из Петербурга в Полотняный завод

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

...Благодарю тебя за милое и очень милое письмо. Конечно, друг мой, кроме тебя в жизни моей утешения нет – и жить с тобою в разлуке так же глупо, как и тяжело. Но что ж делать? После завтраго начну печатать Пугачева, который до сих пор лежит у Сперанского. Он задержит меня с месяц. В августе буду у тебя. Завтра Петергофский праздник, и я проведу его на даче у Плетнева вдвоем. Будем пить за твое здоровье. С хозяином Оливье я решительно побранился, и надобно будет иметь другую квартиру, особенно если приедут с тобою сестры. Из деревни имею я вести не утешительные. Посланный мною новый управитель нашел все в таком беспорядке, что отказался от управления и уехал. Думаю последовать его примеру. Он умный человек, а Болдино можно еще коверкать лет пять.

Прости, женка. Благодарю тебя за то, что ты обещаешься не кокетничать: хоть это я тебе и позволил, но все-таки лучше моим позволением тебе не пользоваться. Радуюсь, что Сашку от груди отняли, давно бы пора. А что кормилица пьянствовала, отходя ко сну, то это еще не беда; мальчик привыкнет к вину и будет молодец, во Льва Сергеевича. Машке скажи, чтоб она не капризничала, не то я приеду и худо ей будет. Благословляю всех вас – тебя целую в особенности.

30 июня

Р. S. Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции, и так далее – охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен. Погоди, в отставку выйду, тогда переписка нужна не будет.

*Около (не позднее) 14 июля 1834 г.
Из Петербурга в Полотняный завод*

Александр Пушкин – Наталье Пушкиной

Ты хочешь непременно знать, скоро ли буду я у твоих ног? Изволь, моя красавица. Я закладываю имение отца, это кончено будет через неделю. Я печатаю Пугачева; это займет целый месяц. Женка, женка, потерпи до половины августа, а тут уж я к тебе и явлюсь и обниму тебя, и детей расцелую. Ты разве думаешь, что холостая жизнь ужасно как меня радует? Я сплю и вижу, чтоб к тебе приехать, да кабы мог остаться в одной из ваших деревень под Москвою, так бы Богу свечку поставил; рад бы в рай, да грехи не пускают. Дай, сделаю деньги, не для себя, для тебя. Я деньги мало люблю – но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. А о каком соседе пишешь мне лукавые письма? кем это меня ты страшашь? отसेле вижу, что такое. Человек лет 36; отставной военный или служащий по выборам. С пузом и в картузе. Имеет 300 душ и едет их перезакладывать – по случаю неурожая. А накануне отъезда сентиментальничает перед тобою. Не так ли? А ты, бабенка, за неимением *того* и другого, избираешь в обожатели и его: дельно. Да как балы тебе не приелись, что ты и в Калугу едешь для них. Удивительно! – Надобно тебе поговорить о моем горе. На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и Богом прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, не так? Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили как шута и что их маменька ужас как мила была на аничковских балах. Ну, делать нечего. Бог велик; главное то, что я не хочу, чтоб могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма. Будь здорова. Поцелуй детей и благослови их за меня. Прощай, целую тебя.

А.П.

Пушкин и предположить тогда не мог, что жить ему осталось всего неполных три года.

В 1835 году Наталья Николаевна познакомилась с французским подданным, офицером-кавалергардом Жоржем-Шарлем Дантесом. В ноябре 1836 года была объявлена помолвка Дантеса и Екатерины Гончаровой, родной сестры Натальи. А 10 (22) января 1837 года состоялась свадьба, и Дантес стал родственником Натальи Николаевны, а значит – и родственником Пушкина. Но это не помешало ему ухаживать за Натальей Николаевной, дав почву для слухов о предполагаемой связи с женой поэта.

Некоторые исследователи утверждают, что влюбленная в Дантеса Екатерина Николаевна до объявленной в ноябре 1836 года помолвки уже была беременна и рождение дочери они зарегистрировали с таким расчетом, чтобы выдержать девятимесячный срок после состоявшегося в январе 1837 года венчания. Интересно, знал ли об этой беременности Пушкин? Если знал, то это придает истории с дуэлью еще более отталкивающий оттенок.

Как бы то ни было, Пушкин очень любил свою жену, и возведенная на нее гнусная клевета глубоко опечалила его. Он возненавидел Дантеса и, несмотря на женитьбу того на Екатерине Гончаровой, не хотел с ним помириться.

Друзья и родственники Пушкина, как могли, пытались отговорить его от поединка. В своих «Воспоминаниях» В. А. Соллогуб отметил: «Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел». По словам Н. И. Павлицева (мужа сестры Пушкина), «он искал смерти с радостью, а потому был бы несчастлив, если бы остался жив».

Поединок состоялся 27 января (8 февраля) 1837 года, в пять часов пополудни, за Выборгской заставой, у Черной речки (притока Большой Невки). Чем все это закончилось, мы все прекрасно знаем: Александр Сергеевич был смертельно ранен в верхнюю часть бедра, пуля, пробив кость, глубоко засела у него в животе. Два дня он боролся со смертью в ужасных мучениях и наконец 29 января (10 февраля) 1837 года скончался в своей квартире на Мойке.

Ну а Наталья Николаевна в 1844 году вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского. У них родилось еще трое детей, и супруги дожили свой век в полном мире и согласии (она умерла в 1863 году, он – в 1877 году, и они были похоронены в одной могиле в Александро-Невской лавре).

Федор Тютчев

Первой женой Федора Ивановича Тютчева, замечательного, по меткому определению его биографа И. С. Аксакова, поэта «по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по профессии», который стихи «не писал, а только записывал», но при этом создал их за свою жизнь более четырех сотен, была Элеонора фон Ботмер (в первом браке – Петерсон). Она родилась в 1800 году в семье немецкого дипломата, графа Карла-Генриха-Эрнеста фон Ботмера, и его жены Анны, урожденной баронессы фон Ганштейн.

Тютчев женился в 1826 году, в возрасте 23 лет, в Мюнхене, на милой, грациозной, умной, несколько старшей его по возрасту вдове. Она была урожденной графиней, и таким образом Федор Иванович породнился разом с двумя старыми аристократическими фамилиями Баварии и попал в целый сонм немцев – родственников.

От брака с Элеонорой у Тютчева родились три девочки: Анна, Дарья и Екатерина.

А в феврале 1833 года, на балу, произошла первая встреча Тютчева с его будущей второй женой, баронессой Эрнестиной фон Пфедфель (в первом браке – Дёрнберг), с женщиной замечательной красоты и ума. Она была из семейства более французского, чем немецкого, происхождением из Эльзаса.

В Эрнестине поэт нашел, помимо красоты, глубокую духовную близость. И она совершенно затмила милую и обаятельную, но совершенно не яркую Элеонору.

Почувствовав опасность, Элеонора делала все возможное и невозможное, чтобы сохранить семью. Однако Тютчева уже ничто не могло остановить. Элеонора впала в отчаяние и в мае 1836 года попыталась кончить жизнь самоубийством, ударив себя несколько раз кинжалом. После этого Тютчев клятвенно пообещал жене разорвать отношения с баронессой Дёрнберг. Супруги договорились покинуть Мюнхен, где Федор Иванович работал в русской дипломатической миссии.

После возвращения в Санкт-Петербург Тютчев получил новое назначение в Турин, столицу Сардинского королевства. Через несколько дней, временно оставив семью в Санкт-Петербурге, он отправился к месту своего нового назначения.

14 мая 1838 года Элеонора с тремя малолетними дочерьми отправилась к мужу, предполагая добраться на пароходе до Любека, а оттуда уже на экипаже до Турина. Вблизи Любека в ночь с 18 на 19 мая на пароходе вспыхнул пожар. Погасить пламя не удалось. Пассажиры в ужасе, кто в чем был, столпились на узкой лестнице, спущенной с парохода к подоспевшим лодкам: произошла страшная давка, многие попадали в море и утонули. Элеонора Тютчева проявила удивительное мужество: она сошла с парохода последней, с тремя своими маленькими детьми, из которых младшей было полтора года. Весь ее гардероб и вещи погибли. Во время кораблекрушения Элеонора почти не пострадала физически, но произошедшее подорвало ее и без того расстроенное душевное здоровье. Однако, опасаясь за мужа, она не рискнула задерживаться на лечении в Германии и поехала, как и планировалось, в Турин.

Через три месяца Элеонора умерла. Горю Тютчева не было предела. За ночь, проведенную им у гроба жены, голова его стала седой.

Однако в 1839 году Тютчев женился на Эрнестине Дёрнберг (урожденной Пфедфель), муж которой умер от тифа, – Мюнхен в то время был охвачен эпидемией.

Пара обвенчалась 17 июля 1839 года в Берне, и Эрнестина фактически удочерила троих дочерей поэта от первого брака.

1 (13) декабря 1839 г. Мюнхен

Федор Тютчев – Ивану и Екатерине Тютчевым

... Не беспокойтесь обо мне, ибо меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом. Это только дань справедливости. Я не буду говорить вам про ее любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы ее чрезмерной. Но чем я не могу достаточно нахвалиться, это ее нежностью к детям и ее заботой о них, за что не знаю как и благодарить ее. Утрата, понесенная ими, для них почти возмещена...

От брака с Эрнестиной у Тютчева тоже родились три ребенка: Мария, Дмитрий и Иван. Известно около 1300 писем Ф. И. Тютчева, из них опубликовано немногим более 400, то есть меньше трети. Это объясняется тем, что большинство писем было написано по-французски, и к тому же трудноразборчивым почерком, который сам Тютчев в письмах к жене называл «свинским».

Письма к первой жене, Элеоноре, погибли во время пожара на пароходе, а вот вторая жена поэта сама уничтожила значительную часть переписки, проливая свет на историю ее отношений с Тютчевым. Сохранилось всего восемь ее писем за 1850–1870 годы и его письма к ней, в том числе, написанные еще до их венчания.

Стоит отметить, что в 1835 году Тютчев получил чин камергера. А в 1839 году его дипломатическая деятельность внезапно прервалась, но до 1844 года он продолжал жить за границей.

19 (31) августа 1840 г. Мюнхен

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой¹⁰

Спасибо тебе, моя кисанька, за письмо, которое я, возвратясь домой, нашел у себя на столе; оно успокоило меня после глупейшей увеселительной поездки, какую я когда-либо совершал и виновником коей я в некоторой степени имею право считать самого себя <...>

Мы уехали в 4 часа и должны были возвратиться в 6. Вместо того мы вернулись в город, когда было 10 часов. Поистине беспорядок, анархию, глупость, царящие в этом учреждении, трудно себе представить <...> 4–5 тысяч человек в полнейшей тьме, у большой дороги, ожидали поезда, с тем чтобы броситься в него, как только он появится, и вынуждены были брать вагоны приступом, боясь, что в случае неудачи придется провести ночь под открытым небом, в пяти милях от Мюнхена. Вопли, толкотня, опасность упасть под колеса, какой-то дьявольский фейерверк, пущенный неизвестно для чьей забавы... все это заставило меня пережить несколько мгновений, когда я искренне порадовался твоему отсутствию <...>

Вчера госпожа Берхем (Эйхталь)¹¹ родила дочь. Роды прошли вполне благополучно. Завтра зайду справиться о ней <...>

Великая княгиня¹² прибудет послезавтра, а раз я нахожусь в Мюнхене, я не смогу выехать отсюда, не повидавшись с нею. Я буду очень раздосадован,

¹⁰ Письма Тютчева Эрнестине были написаны по-французски и приводятся в ее переводе.

¹¹ Вероятно, речь идет о дочери придворного баварского банкира Симона Эйхтала Анне-Софии, в замужестве графине Берхем.

¹² Великая княгиня Мария Николаевна, дочь императора Николая I.

если из-за этой задержки тебе не придется съездить в Амергау, но, с другой стороны, сильно сомневаюсь, чтобы эта поездка доставила тебе большое удовольствие <...>

22 августа (3 сентября) 1840 г. Мюнхен

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Пишу тебе, милая моя кисанька, второпях. Сегодня утром мы должны быть у известной тебе великой княгини, а как ты знаешь, со Щукой¹³ всегда тратишь много времени. Он никогда не торопится. Все это не мешает тебе быть истинной великой княгиней – великой княгиней моего сердца, с которою мне хочется свидеться как можно скорее. Очень надеюсь, что это осуществится в будущую субботу <...>

Все, что ты сообщаешь насчет гувернантки, кажется мне весьма правильным. Об этом мы еще поговорим. Во всяком случае, предоставляю тебе полную свободу действовать и решать по-своему. Вся трудность заключается по-прежнему в недостатке места <...>

Благодарю тебя, моя кисанька, за присланную весть. Береги себя хорошенько, прошу тебя. Больше чем когда-либо избегай усталости. Мне хочется увидеть тебя здоровой и поправившейся.

Что касается денег, я сказал Эйхталю, чтобы он выслал их прямо тебе.

Прости, моя кисанька. Если бы я захотел во что бы то ни стало исписать все остающееся свободное место, это отняло бы у меня много времени и помешало бы моим приготовлениям... Итак, прости, – до субботы. Целую детей от А. до М.¹⁴

1 (13) сентября 1841 г. Веймар

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая кисанька, вот я и в Веймаре, куда прибыл сегодня около 3 часов пополудни. А ты, что поддельвала ты в этот час? Приехала ли ты в Мюнхен? Я не буду совершенно спокоен, пока не получу ответа на свой вопрос. Кроме землетрясения, нет такого несчастья, которого я бы не вообразил случившимся с тобой... Я видел, как твоя карета перевернулась, бессчетное количество раз. Как неблагоприятно разлучаться и как мы бываем наказаны за разлуку тревогой <...>

Я нашел здесь письмо от моих родителей для тебя и пересылаю его тебе. Я его еще не прочел, прочитаю, закончив это письмо к тебе. Веймар милый, веселый, но очень пустынный. Это красивый маленький провинциальный городок <...> Я чувствую, что долго здесь не пробуду. Твои словечки: «*мой миленький, маленький уродец*» и пр. и пр. непрестанно звучат у меня в ушах и призывают к тебе. Ах, боже мой, как можно быть таким старым, таким уставшим от всего и в то же время чувствовать себя ребенком, отнятым от груди? Мне совершенно необходимо твое присутствие, чтобы

¹³ Щука (Brochet) – прозвище камердинера Ф. И. Тютчева, Эммануила Тума.

¹⁴ То есть от Анны до Марии.

я мог переносить самого себя. Когда я не являюсь существом горячо любимым, я становлюсь самым жалким существом. И потом, я нахожу очень смешным писать к тебе. Это все равно если бы я запел вместо того, чтобы говорить.

Сегодня ты увидишь детей и совершишь всякого рода неверности по отношению ко мне. Но берегись, скоро наступит и мой черед. Тем не менее обними их за меня, моих счастливых соперников, и прочих тоже.

Доброй ночи. Я ложусь спать. Может быть, только ради того, чтобы прервать храп дожидающегося меня Шуки, который, боюсь, охотно бы обошелся без удовольствия помогать мне укладываться. Доброй ночи, моя милая кисанька.

7 (19) сентября 1841 г. Веймар

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая кисанька, я только что вернулся от большого обеда, который великая герцогиня давала в честь кронпринца Баварского, прибывшего невесть откуда и отправляющегося неизвестно куда; я видел только, как он внезапно вошел в сопровождении своей свиты, Цоллера, слащавого Воблана и пр. и пр. Надобно знать, что единственное развлечение здесь – это обеды у великой герцогини и пр. и пр. В конце концов, это скучно, и мне не терпится сказать о Веймаре: я там был.

Вчера утром, милая кисанька, я получил твое письмо. На меня пахло нашими сказочными временами – тот же размер листа, та же надпись на конверте, тот же почерк – но, слава богу, на этом сходство и кончается. Насколько больше я люблю настоящее.

Мне бы внести больше порядка в мое письмо, но это невозможно. Я вернулся от обеда. В сущности, здесь нет ничего примечательного, кроме великой герцогини, я бы хотел, чтобы ты с ней познакомилась. Она настоящая великосветская дама, и нелепо, словно она здесь по недоразумению, видеть ее, с величественными манерами, среди ничтожного провинциального и педантичного веймарского окружения. Она оказала мне самый любезный прием. Я обедал у нее через день после моего приезда. Назавтра я провел у нее вечер <...>

Я уже знаю более или менее всех здесь и не могу пройтись по улице, чтобы не встретить человека, которого знаю по имени. Подумай, как это весело. Еще и поэтому я спешу уехать <...> Добрая Клотильда по-прежнему настолько же резка и неуживчива со всем миром, насколько обожает своего мужа. Однако если обожание мешает мне, когда я являюсь его предметом, то оно глубоко досажает мне, когда я являюсь всего лишь свидетелем его. Что касается до Мальтица¹⁵, скучная жизнь, без круга общения, перевозбудила его нервы до крайней степени, и он, при всей его доброте, порою бывает взбалмошным, как болезненный ребенок.

15 (27) сентября 1841 г. Дрезден

¹⁵ Аполлоний Петрович Мальтиц – муж Клотильды, младшей сестры первой жены Ф. И. Тютчева.

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая моя кисанька, мне кажется, словно прошли века со времени нашей разлуки. Ах, какое скучное развлечение – путешествие. Вот я, со вчерашнего дня, и в Дрездене, а приехал я сюда лишь для очистки совести. Однако вчера, подъезжая к городу, я был в самом сентиментальном настроении, чем-то напоминающем сон. С Дрезденом у меня связаны очень дорогие воспоминания, которые ближе мне, чем воспоминания, касающиеся меня лично. Здесь родилась ты, и этому маленькому обстоятельству, которое в то время было так чуждо моей судьбе, суждено было стать ее основой, а в то же время иная жизнь, иное прошлое... но полно вспоминать! Воспоминания опьяняют, как опиум, и с первых же строк портят письмо. Моей сентиментальности могло способствовать движение паровика, своеобразно действующее на нервы... Однако постараемся придерживаться повествовательного слога... Я покинул Веймар 24-го, мысленно прося у Мальтицев прощения за то, что под влиянием скуки был несправедлив к ним. Еще накануне отъезда они пригласили меня обедать в обществе невестки Гёте¹⁶, которая, несмотря на уродство, седые букли и изрядную дозу напыщенности, довольно понравилась мне. Правда, что первые впечатления мои всегда крайне снисходительны. Если бы они оставались неизменными, меня можно было бы назвать филантропом.

В Лейпциге я попал в водоворот людей, лавок, товаров. Шла вторая неделя ярмарки, то есть был самый разгар ее. Все трактиры битком набиты. Никакой возможности достать угол, где бы приклонить голову. Я сказал себе, пытаюсь подражать твоей интонации, что я самый потерявшийся из смертных. Наконец Провидение взяло меня за руку и отвело на ночлег к барышнику. Несколько часов спустя опять-таки Провидение столкнуло меня в самой суতোлке с Фридрихом Ботмером¹⁷, который приехал из Мекленбурга и, подобно мне, совершенно растерялся в этом хаосе. Так как он тоже не имел пристанища, я повел его к моему барышнику и великодушно уступил ему комнату Щуки. Затем мы вместе пошли побродить. Что до меня, то я несомненно наименее достойный ярмарки человек. Она производит на меня такое же впечатление, какое произвело бы на тебя чтение книги по метафизике. Чтобы хоть малость заинтересоваться всем, на что я гляжу, ничего не видя, мне нужно было бы посредство твоих глаз. Ах, зачем тебя не было со мною! Сколь я проклинал свою глупость, которая не дала мне ничего выбрать в этой груде товаров! Но я знаю, как поступить. Я решил на обратном пути купить сразу всю ярмарку и привезти ее тебе. Тогда ты сможешь выбрать по своему вкусу.

Из Лейпцига я уехал по железной дороге в три часа пополудни, а в 7 часов приехал сюда. Расстояние – 16 миль, то же, что от Регенсбурга до Мюнхена. Надо согласиться, что пар – великий чародей, порою движение так стремительно, так поглощающе, пространство так преодолено, сведено на нет, что трудно не поддаться чувству некоторой гордости. Приехав в Дрезден, я смог в тот же вечер пойти в театр, и пошел я не столько ради собственного

¹⁶ Оттилия-Вильгельмина – супруга Августа, единственного сына Иоганна-Вольфганга Гёте.

¹⁷ Граф Фридрих Ботмер – брат Элеоноры Тютчевой.

удовольствия, сколько чтобы воздать должное железной дороге. Дрезден далеко не так величествен, как Прага, но вид на Эльбу с Брюлевской террасы восхитителен, то есть был бы восхитителен, если бы ты была там. Увы, говоря так, я не говорю тебе комплимента; это просто-напросто признание в невозможности жить самим собою <...>

В Дрездене целая колония русских, – все мои родственники и друзья, но родственники, которых я не видел лет двадцать, и друзья, самые имена коих я позабыл. Это тоже вызвало во мне несколько не особенно приятных ощущений. Тут живет, между прочим, моя кузина, которую я знал ребенком, а теперь встретил уже старухой <...>

Ах, как мне хочется повидаться с тобою! Хочу уехать отсюда завтра же, через Лейпциг, и надеюсь с Божьей помощью быть возле тебя в воскресенье. Но если я приеду на день-два позже – ни в коем случае не беспокойся. Так как я не уверен, что смогу доехать до Мюнхена без остановки, то, быть может, проведу одну ночь где-нибудь в пути.

Постарайся, моя кисанька, чтобы я нашел в Аугсбурге несколько строчек от тебя, ибо возможно, что я приеду с этой стороны. Прости! Я слишком взволнован и не могу больше писать. Обними детей.

Душевно твой

30 мая (11 июня) 1842 г. Веймар

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Вот наконец твой адресат стал веймарским адресатом. Вопреки твоим предсказаниям, пошел третий, а не четвертый день с тех пор, как я сюда приехал, а еще целых полдня я провел в Готе, которую почел своим долгом подробно осмотреть. От Мейнингена дорога обошлась мне в 20–25 флоринов. Здесь я нашел все в том же неизменном виде, как и в прошлый раз. Великая герцогиня больна и не принимает. Впрочем, поскольку двор сейчас в городе, веймарский этикет требует представляться ко двору в мундире, разве только я не решусь явиться во фраке, со шпагой на боку, моей законной принадлежностью¹⁸, что выглядело бы весьма забавно.

Что до Мальтица, мой приезд доставил ему удовольствие, весьма тронувшее меня и позволившее обойтись без повторений <...>

Сегодня день рождения Мальтица, ему исполнилось 47 лет! Есть же люди еще старше меня.

Милая кисанька, как ты себя чувствуешь? Как подвигается лечение? Восстановились ли твои функции? Доставь мне удовольствие, не торопись с сидячими ваннами <...> Расскажи мне о своих прогулках. Увы, я не таков, как ты, ничто не внушает мне такой тревоги, как разлука. Мне кажется, что все силы природы подстерегают и ждут только минуты, когда я отвернусь, чтобы ополчиться против меня <...>

Прощай, моя кисанька, я в отчаянии от своего скверного почерка. От стыда перо падает у меня из рук. У нас стоит жара, как в первые дни нашего приезда в Киссинген, но здесь еще меньше тенистых мест, чем там.

¹⁸ С 30 июня (12 июля) 1841 года Ф. И. Тютчев был исключен из ведомства Министерства иностранных дел и потерял право ношения мундира министерского чиновника.

Прощай. Береги себя хорошенько. Это важнее всего на свете. До встречи навсегда.

6 (18) июня 1842 г. Веймар

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая кисанька, читая твое письмо, я принужден был в очередной раз произнести: *благородное создание...* Но не хочешь ли ты мне польстить, говоря, что так сильно скучаешь без меня. В любом случае, разлука приближается к концу, и, вероятно, ты увидишь меня в ближайший четверг, поскольку я предполагаю уехать отсюда 21-го, то есть во вторник. Вчера я впервые видал великую герцогиню. Я уже дважды обедал при дворе и провел там один вечер, так и не увидав ее. Вчера состоялся первый ее выход.

Здесь столь радушны к иностранцам, что это почти трогательно. В приеме, какой им здесь оказывают, проглядывает благодарность. По правде говоря, жизнь здесь весьма скучная и нужно оставить в стороне всякую притязательность, чтобы долго переносить ее. Однако это не означает, что здесь нет общества. Вчера я провел вечер у прусского посланника, где собралось до полусотни гостей. Третьего дня был у невестки Гёте и т. д. Дело в том, что все живут тесным кругом, постоянно собираясь друг у друга, как на борту корабля. Что ты скажешь о такой перемене погоды? Я испытываю весьма неприятное ощущение, а ты, моя кисанька? А как подвигается твое лечение? Мне не терпится самому оценить достигнутые успехи.

Судя по тому, что ты пишешь о своем образе жизни после моего отъезда, я ясно вижу, что <...> хозяин Hôtel de Russie не должен более рассчитывать на приятность твоего присутствия, чтобы увеличить число обедающих за табльдотом. Все это заставляет меня надеяться, что я по возвращении не найду свое место занятым, если только великолепный и ловкий банкир уже не занял его. А *Люксбурги*, какова ты с ними?

Мальтиц часто говорит со мной о тебе. На днях он еще смеялся, вспоминая, как ты смотрела на Северина¹⁹. Он прекрасно понял твое добродушно-пренебрежительное и веселое выражение, столь разительно отличающееся от явного и горячего негодования его жены, свойственного ей обыкновенно... В этом случае ее способность негодования имеет под собой еще меньше оснований. Вообще у нее она перешла в резкое расположение духа, теперь уже ко всем без разбора.

Впрочем, возможно, я ошибаюсь, либо у бедняжки есть какое-то тайное горе. Может, причиною то, что у нее нет детей, да к тому же она видит, что муж гораздо меньше теперь ее любит, чтобы можно было надеяться воплотить эту мечту. Увы, увы! Когда лежишь в постели с женой, читать ей стихи Шиллера – это еще не все <...>

Как малышка Мари? На расстоянии мне кажется, что ты несправедлива к ней и что ее так называемые капризы всего лишь милые шалости. Лыщу себя надеждой, что найду ее в более добром здравии.

¹⁹ Дмитрий Петрович Северин – литератор, член литературного общества «Арзамас», был послом в Швейцарии и Баварии, умер в отставке в Мюнхене.

Прощай, милая кисанька, я непременно выезжаю 21-го, потому что каждый день бывают минуты, когда я чувствую себя как без рук, совершенно разъятым на части.

14 (26) июля 1843 г. Москва

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая моя кисанька, ах зачем я уже не на четвертой странице моего письма! Как тяжело гнетет мое сознание мысль о страшном расстоянии, разделяющем нас! Мне кажется, будто для того, чтобы говорить с тобою, я должен приподнять на себе целый мир. Вот у меня под рукою, перед глазами твой милый почерк, а любимая рука, что начертала эти буквы, – что делает она в эту минуту? Разлука представляется необъяснимой загадкой тому, кто умеет чувствовать.

Вчера, 13-го, между двумя и тремя часами пополудни я дорого дал бы за то, чтобы ты оказалась возле меня. Я был в Кремле. Как бы ты восхитилась и прониклась тем, что открывалось моему взору в тот миг! Беру в свидетели самого господина де Кюстина, которого, разумеется, нельзя заподозрить в пристрастии. Это единственное во всем мире зрелище. Отсылаю тебя к третьему тому его труда. Если тебе нравится Прага, то что же сказала бы ты о Кремле!

Оттуда я направился посмотреть на дом, который принадлежал некогда моему отцу и где протекло все мое детство. Он представился мне как во сне, и каким постаревшим и изнуренным я почувствовал себя, очнувшись! Мне пришлось вспомнить, что я обладаю тобою, дабы мое сердце не изнемогло и не растаяло. Однако нелепо пытаться передать эти ощущения <...>

Излишне говорить, что при каждом таком потрясении сердце во мне сжимается и устремляется к тебе. Но и ты постареешь. И мне кажется, что за время моего отсутствия ты совершенно и неотвратно оказалась во власти этого недуга, именуемого временем.

Бедная моя кисанька, чего бы ни дал я, чтобы увидеть тебя хоть на единый краткий миг. Как бы это успокоило меня! <...>

Прощай, моя милая кисанька. Складываю это письмо, если только не вздумаю потом его продолжить.

28 августа (9 сентября) 1843 г. Санкт-Петербург

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая моя кисанька, пишу тебе лишь несколько строк, дабы сообщить, что через несколько часов выезжаю из Петербурга. Я заеду к Крюденерам в *Петергоф*, а оттуда граф Бенкендорф повезет нас к себе в замок Фалль, под Ревелем. Он с такою любезной настойчивостью приглашал меня сопутствовать им, что отклонить его предложение было бы невежливо. К тому же эта поездка не слишком отклоняет меня от моего пути, и задержка выразится лишь в нескольких днях, которые я проведу у него. Подробности я пока откладываю, а скажу только в нескольких словах, что намерен посетить в прелестном загородном дворце великую княгиню

Марию Николаевну, которая все еще сильно горюет о смерти ребенка, но по-прежнему безукоризненно добра и любезна со мной <...>

Чуть было не позабыл, кисанька, поблагодарить тебя за письмо от 16 числа минувшего месяца. Теперь напиши мне одно письмо в Берлин, в адрес нашей миссии, и на всякий случай напиши несколько слов также и в Любек, *до востребования*. Не то чтобы я изменил свои намерения относительно пути, но может случиться, что я буду вынужден свернуть на Любек, и мне хочется, вне зависимости от того, на что я решусь, найти по приезде в Германию несколько строк от тебя <...>

Прости, милая моя кисанька. Да будет мой отъезд в Петергоф началом моего возвращения к тебе. Я по-прежнему рассчитываю, что приеду к тебе в последних числах сего месяца. Но мне с трудом верится в такое счастье <...> Целую детей.

Сегодняшнее число – 9 сентября – печальное для меня число. Это был самый ужасный день в моей жизни, и не будь тебя, он был бы, вероятно, и последним моим днем²⁰. Да хранит тебя Бог.

14 августа 1846 г. Москва

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая моя кисанька, получил твоё милое письмо от 8–9-го. Знаешь ли ты, что твои письма весьма жестоко молодят меня? Они вызывают во мне все то, что вызывали некогда, вызывают чувство тоски и отчаяния, от них сжимается сердце, появляется жажда воздуха, то есть жажда видеть тебя во что бы то ни стало. Когда я читаю их, мне кажется, будто сердце мое находится вне меня, что оно бьется за 100 верст от меня, что оно отдано на милость ста тысячам случайностей, которых я не могу ни обуздать, ни предвидеть. Увы, стоит ли стариться, если, несмотря на все убывающие силы, остаешься по-прежнему во власти все тех же волнений. Особенно в конце твоего письма есть несколько строк столь грустных и смиренных, ты обращаешься мыслью к нашему прошлому с такой благодарностью и так задушевно, что, читая эти строки, я почувствовал, как в душе моей все кричит, и бросился, чтобы не задохнуться, на Тверской бульвар, и все ходил по нему взад и вперед, пока немного не успокоился и не пришел в себя. Ах, боже мой, значит, все по-прежнему, вечно будет одно и то же... Ведь даже когда ты находишься возле меня, я не могу без волнения вспомнить о нашем прошлом, не почувствовав головокружения; что же я должен чувствовать, когда тебя нет со мною...

А между тем я с бесконечным наслаждением читаю оба твоих письма. Они очень милы, можешь поверить мне, не часто случается читать подобные им... Я крайне признателен тебе за подробности, которые ты сообщаем, они очень меня занимают, ибо мы вполне согласны с госпожою де Севинье в том, что не может быть излишка в подробностях, касающихся любимых людей. Не менее признателен я тебе и за визиты, которые ты делаешь или собираешься сделать ради меня, за развлечения, к которым ты так усердно понуждаешь себя из любви ко мне, – пусть даже за счет остатка жизни

²⁰ 28 августа (9 сентября) 1838 года в Турине скончалась первая жена поэта Элеонора Тютчева.

двух жалких кляч, которые имеют счастье возить тебя. Словом, мне приятно знать, что среди светской суеты ты думаешь обо мне, – пусть даже твои обычные развлечения и умножатся, – и я с нетерпением жду продолжения твоего дневника.

Теперь я почти что избавился от колебаний и, кажется, решил, как нам быть. Разумеется, этой зимою мы не тронемся из Петербурга, ибо при теперешних обстоятельствах переселение разорило бы нас. Нам не удастся найти тут квартиру дешевле, чем за пять тысяч рублей, а если добавить сюда расходы по переезду – это вызовет известное нарушение нашего бюджета, которое не смогут возместить никакие выгоды здешней жизни. К тому же покинуть Петербург в известной мере значит покинуть службу, а этого я не могу и не хочу делать. Итак, мы не переезжаем, – но я обещал маменьке, которую такое решение очень огорчает, что мы все, сколько нас ни есть, приедем к ней будущим летом в Овстуг. Она крайне горячо ухватилась за эту мысль, и хорошо бы тебе в письме к моей сестре сказать несколько слов в подкрепление этой надежды, тем более что я считаю ее вполне осуществимой. Действительно, нам совсем не затруднительно отвезти будущей весной детей к маменьке в деревню месяца на 3–4, а что до нас самих, то, как только мы заскучаем, – мы сможем совершить в это лучшее время года поездку по югу России – в Киев, Одессу, Крым. Но все это планы... Вернемся к настоящему.

Москва на этот раз является для меня как бы волшебным фонарем, в котором погашен свет. Предоставляю тебе отгадать, кто этот отсутствующий свет.

Нет, воля твоя, а я не буду ни в Симоновом, ни в других местах, где мы были с тобою вместе. У меня на это свои причины.

Город стал пустыней, лишенной всякой поэзии. Я обедаю и полдня провожу у Сушковых, а вечером иногда бываю в клубе. Намедни ездили в Сокольники и пр. и пр., но, знаешь ли, я решительно не могу говорить о том, что я делаю, – до такой степени мне это безразлично.

Из знакомых я видался с *Чаадаевым*, который находится в весьма плачевном состоянии как в отношении здоровья, так и умонастроения. Он мнит себя умирающим и у всякого просит советов и утешения.

Более интересен, пожалуй, перелом в погоде, наступивший вчера, 13-го, и действие которого, думаю, дошло и до вас. Именно вчера настал конец очарованиям и лето, по-видимому, распростилось с нами.

Милая моя кисанька, мне хотелось бы сказать тебе еще так много. Но отвратительный мой почерк раздражает меня до крайности, и мне не терпится кончить писание. Прости. Мне ни в коем случае не следовало бы расставаться с тобою. Целую Анну и благодарю ее за письмо, но в разлуке я могу думать лишь о тебе одной... Прости, моя кисанька. Береги себя.

Эрнестина была богатой женщиной, и Тютчев не делал секрета из того, что живет практически за ее счет. Кроме того, она по праву считалась красавицей, и тем более удивителен тот факт, что в 1850 году Тютчев увлекся Еленой Александровной Денисьевой, фактически создав с ней вторую семью. Когда Федор Иванович впервые увидел Елену, родившуюся в Курске в старинной дворянской семье, ей шел 24-й год, а ему было почти 47 лет. Выглядел он при этом гораздо старше своих лет.

Роман Денисьевой с женатым мужчиной, который по возрасту годился ей в отцы, был негативно воспринят не только светом (перед нею демонстративно закрылись двери многих

домов), но и отцом Елены, отрекшимся от дочери. Возникли сложности и у ее тетушки Анны Дмитриевны, взявшей племянницу под опеку: она была вынуждена уволиться из Смольного института и освободить служебную квартиру.

О том, что довелось пережить Елене Денисьевой, поэт рассказал в известном стихотворении, написанном в 1851 году.

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Их отношения продолжались в течение четырнадцати лет, и вне брака родились трое детей, двое из которых скончались менее чем через год после смерти матери.

В мае 1864 года Денисьева родила сына Николая. После родов ее самочувствие стало стремительно ухудшаться, и врачи диагностировали туберкулез. Елена умерла 4 августа, и через три дня Тютчев похоронил свою возлюбленную на Волковском кладбище.

8 августа 1864 г. Санкт-Петербург

Федор Тютчев – Александру Георгиевскому

Все кончено, – вчера мы ее хоронили... Что это такое? Что случилось?
О чем это я вам пишу – не знаю. Во мне все убито: мысль, чувство, память,
все... Я чувствую себя совершенным идиотом.

Пустота, страшная пустота. И даже в смерти – не предвижу облегчения.
Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...

Сердце пусто – мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней – вызвать ее,
живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

Страшно, невыносимо. Писать более не в силах, да и что писать?..

Ф. Тчв.

6 (18) октября 1864 г. Женева

Федор Тютчев – Александру Георгиевскому

Друг мой, милый друг мой Александр Иванович... Уверять ли мне вас,
что с той минуты, как я посадил вас в вагон в Петерб[урге], – не было дня,
не было часу в дне, чтобы мысль о вас не покидала меня... Так вы тесно
связаны с памятью о ней, а память ее – это то, что чувство голода в голодном,
ненасытно голодном.

Не живется, мой друг Александр Иванович, не живется... Гноится
рана, не заживает... Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все
равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее
любви, ее беспредельной ко мне любви я признавал себя... Теперь я что-
то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество...

Может быть и то, что в некоторые годы природа в человеке теряет свою целительную силу, что жизнь утрачивает способность возродиться, возобновиться. Все это может быть; но поверьте мне, друг мой Александр Иваныч, тот только в состоянии оценить мое положение, кому – из тысяч одному – выпала страшная доля – жить четырнадцать лет сряду – ежечасно, ежеминутно – такую любовью, как ее любовь, и пережить ее...

Теперь все изведано, все решено – теперь я убедился на опыте, что этой страшной пустоты во мне ничто не наполнит... Чего я ни испытал в течение этих последних недель: и общество, и природа, и, наконец, самые близкие родственные привязанности, самое душевное участие в моем горе...

После смерти Денисьевой Тютчев, легко влюблявшийся и способный любить двух женщин одновременно (возможно, по-разному, но одинаково глубоко), примирился с женой и продолжил писать ей красивые письма.

31 августа 1846 г. Овстуг²¹

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая моя кисанька, мне кажется, словно я пишу тебе с противоположного конца земли, и наивной представляется мысль, будто клочок бумаги, лежащий у меня под рукою, когда-нибудь до тебя дойдет, – до такой степени я чувствую себя как бы на самом дне бездны...

А между тем я окружен вещами, которые являются для меня самыми старыми знакомыми в этом мире, к счастью, значительно более давними, чем ты... Так вот, быть может, именно эта их давность сравнительно с тобою и вызывает во мне не особенно благожелательное отношение к ним. Только твое присутствие здесь могло бы оправдать их. Да, одно только твое присутствие способно заполнить пропасть и снова связать цепь.

Я пишу тебе в кабинете отца – в той самой комнате, где он скончался. Рядом его спальня, в которую он уже больше не войдет. Позади меня стоит угловой диван – на него он лег, чтобы больше уже не встать. Стены увешаны старыми, с детства столь знакомыми портретами – они гораздо меньше состарились, нежели я. Перед глазами у меня старая реликвия – дом, в котором мы некогда жили и от которого остался один лишь остов, благоговейно сохраненный отцом, для того чтобы со временем, по возвращении моем на родину, я мог бы найти хоть малый след, малый обломок нашей былой жизни... И правда, в первые мгновенья по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший. Старинный садик, четыре больших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов во сто длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, – все это помещается на участке в несколько квадратных сажен... Словом, я испытал в течение нескольких мгновений то, что тысячи подобных мне испытывали при таких же обстоятельствах, что вслед за мною испытает еще немало других и что, в конечном счете, имеет ценность только для самого переживающего и только до тех пор, покуда он находится под этим обаянием. Но ты сама понимаешь,

²¹ Село Овстуг Орловской губернии – родина Ф. И. Тютчева.

что обаяние не замедлило исчезнуть и волнение быстро потонуло в чувстве полнейшей и окончательной скуки... К счастью, мне подали твое письмо, прибывшее сюда за три или четыре дня до меня и любезно ждавшее меня на пороге, чтобы приветствовать мой приезд <...>

Сегодня суббота, 31 августа. Я уеду, наверно, числа 4–5 сентября и надеюсь быть в Москве к 10-му, где располагаю пробыть лишь столько времени, сколько потребуется на покупку мест в почтовой карете, которая должна привезти меня к тебе, – так что числу к 15–18-му надеюсь, с Божьей помощью, завершить многотрудную задачу, которую я возложил на себя. Но я не сомневаюсь, что по приезде в Москву я получу от тебя письмо. Это совершенно необходимо <...>

Прощай. Обнимаю детей, особенно же их мать.

17 (29) июля 1847 года (Карлсруэ)

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая моя кисанька, ты, разумеется, не ожидала получить письмо из Карлсруэ, из города, который ты находила таким несносным, но который вовсе не противен мне... Вот как это случилось. Сегодня я выехал из Баден-Бадена сюда, чтобы сесть в омнибус, который должен был доставить меня в Вильдбад к канцлерше, ожидающей меня там уже 10 дней. Но чтобы поспеть в Карлсруэ вовремя, надо было выехать из Бадена в 10 часов утра, а я выехал только в 2 пополудни, так что по приезде моем сюда нечего было и думать об омнибусе, а пришлось примириться с тем, чтобы прождать здесь целый день и постараться получше воспользоваться долгим досугом, созданным моим запоздалым выездом. Вот почему я и пишу тебе из Карлсруэ.

После письма, которое я послал тебе и которое ты получишь бог весть когда, я получил два твоих. Последнее из них, помеченное 1/13 числом нынешнего месяца, дошло до меня только вчера, 28-го. Оно потратило целых две недели, чтобы добраться до меня. Право, можно подумать, что Гапсаль не в Европе.

Из этого благословенного письма я усмотрел, что ты еще не получила моего бюллетеня из Берлина и, следовательно, не имела никаких оснований думать, что я нахожусь на берегах Рейна, а не на дне Балтийского моря. Ты, однако, была вполне права, что предположила первое, ибо это было самое вероятное <...>

Весьма вероятно, что я съезжу в Остенде, но я еще не могу сказать, когда <...>

Я провел в Бадене одиннадцать дней и должен тебе признаться, что Баден несколько обманул мои ожидания. Местность очаровательная, но в отношении съехавшегося общества я ждал чего-то более блестящего и полного. Говорят – не знаю, правда ли это, – что нынешний сезон особенно тускл. Как бы то ни было, я не встретил ни одного сколько-нибудь известного имени, ни одной европейской знаменитости и даже, исключая несколько русских семейств, мало знакомых <...>

Милая моя кисанька, хочешь знать, от чего зависит теперешнее мое настроение? От убеждения, черпаемого мною отовсюду, что время мое

минуло и что ничто в настоящем уже не принадлежит мне. Страны, которые я вновь увидел, стали уже не те.

Могу ли я забыть, что в былое время, когда я посещал их в первый, во второй, в третий раз, я был еще молод и был любим. – А нынче я стар и одинок, очень одинок.

Но, ради бога, береги себя, ибо пока ты еще есть – не все еще стало небытием.

Я хотел сказать тебе тысячу разных разностей и не сказал. Какая глупость – письма! Нежно обнимаю детей, и особенно Дмитрия, раз он меня замещает. Прости, моя кисанька. Сейчас около полуночи.

Ф.Т.

13 июля 1851 г. Москва

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Милая моя кисанька, хочу воспользоваться одной из своих добрых минут, – минут просветления, для того чтобы написать тебе спокойное и рассудительное письмо, такое письмо, которое ты могла бы прочесть перед моим дагерротипом, не обращая к нему упреков. Позавчера, в среду, я получил письмо от 4-го, написанное в комнате с видом в сад и на маленькую церковь, той самой комнате, которую ты предназначала мне. Но не смею слишком останавливать свои мысли на всем этом из страха разбудить дремлющее чудовище... Ведь у меня нет больше твоего всемогущего присутствия, чтобы его успокоить. Да, без тебя мне многого стоит защищаться от него. В твоём письме разлит тихий покой, некая безмятежность, которая благотворно на меня подействовала. Я почувствовал себя живущим в твоих мечтаниях жизнью призрака. Этот вид существования не противен мне. После всех моих беснований это так успокаивает меня. Ах, милая моя кисанька, прости мне все те язвительные и глупые упреки, которыми я тебя осыпал, нарушив свойственную тебе тихую безмятежность, столь милую для меня, хоть я сам и делаю все от меня зависящее, чтобы помешать тебе ею наслаждаться <...> Итак, как раз в то время, как ты мирно читала покойного господина Карамзина, я, безумец, своим письмом заронил тревогу в твои мысли... Извещение о моем приезде; следующей почтой – отмена. Крики, причитания, безумствования. Ну, согласишься, милая моя кисанька, что порой я бываю поистине отвратителен. Но ты меня любишь, прощаешь меня и жалеешь. И к тому же, ты не можешь скрыть от самой себя в такие минуты, что и на тебе лежит доля ответственности за мои сумасбродства. Ведь ты же знаешь, что когда ты тут, я никогда не кричу так громко...

Поговорим, если хочешь, о моем здоровье. По совету врача я принял несколько холодных ванн в заведении на Тверской; затем он порекомендовал мне носить холодные компрессы на животе, что я и собираюсь делать. Но весь этот режим не сделает для моих нервов того, что сделает четверть часа твоего присутствия. Так что за все эти дни я перенес ужаснейшую борьбу, какую только можно себе представить, – я держался изо всех сил, чтобы не поддаться искушению поехать к тебе... Но эта выходка – так как это было бы именно выходкой – расстроила бы все мои планы. А планы мои таковы:

я хочу вернуться сюда в конце августа, к тому времени года, когда приезжает двор, после чего я либо поеду за тобой в Овстуг, либо буду ждать тебя здесь. Но для осуществления этого плана мне необходимо показаться в Петербурге <...>

Итак, я собираюсь возвратиться в Петербург. Словно я во второй раз расстанусь с тобой. Ах, и глупец же я! Мое решение опять меня страшит. Но ты обещалась мне жить и быть здоровой... Поскольку врач категорически запретил мне путешествовать в почтовой карете, я, благодаря Сушковым, купил по случаю за скромную цену 75 рублей серебром маленькую коляску, достаточную для нас двоих, меня и Щуки. Меня уверяют, что это сушая находка. Коли так, пусть это будет находка; она и в Петербурге нам сможет очень пригодиться. Надеюсь, что благодаря обычным для этого времени года передвижениям мне удастся без большого труда поделить этот месяц между Петербургом и его окрестностями <...>

Ах, милая моя кисанька, отчего я не могу говорить с тобой, вместо того чтобы писать, в особенности сегодня, когда я чувствую, что пишу, как кухарка, и притом наименее искушенная в литературе... Ну, а как же с отъездом моего брата за границу? Он глупо поступит, если откажется от поездки, несмотря даже на повышение стоимости паспорта. Что касается детей, то нечего и думать о том, чтобы оставить их в деревне после августа. Было бы даже неделикатным просить о чем-нибудь большем. Тотчас по приезде в Петербург заеду к Леонтьевой, чтобы договориться с ней по этому вопросу. А как только дети уедут, надеюсь, что и ты не замедлишь последовать за ними. Прошу тебя, милая моя кисанька, пиши мне возможно обстоятельнее. Еще раз повторяю, что нет человека умнее тебя... И вот мне приходится вспоминать об этом, как о предании.

Существуешь ли ты еще в действительности?..

17 августа 1851 г. Санкт-Петербург

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Пишу тебе сегодня, моя милая кисанька, лишь для того, чтобы избавить от минут напрасного ожидания. Вчера, в четверг, я не смог навестить девочек в Смольном, поеду к ним в воскресенье. Я узнал, однако, что они теперь более спокойны и более покорны судьбе. Повторяю, они чувствуют себя несчастными лишь в сравнении с прежним, но как-никак они действительно находятся в весьма ложном и весьма нелепом положении. Тем не менее сейчас нужно примириться с этим и ждать больших удач в будущем... Следовательно, единственной моей заботой будет сохранить существующее положение до твоего возвращения <...>

Брат мой по-прежнему в хлопотах о паспорте, которого он, вероятно, в конце концов добьется.

Здесь все заняты только отъездом двора по железной дороге.

Погода стоит дивная. Это, знаю, на руку тебе против меня, но я слишком люблю тебя, чтобы не радоваться этому <...>

Целую твои ручки.

Ф. Т.

В 1866 году вышла замуж старшая дочь Тютчева, Анна Федоровна Тютчева, фрейлина высочайшего двора и мемуаристка. Ее мужем стал один из лидеров славянофильского движения Иван Сергеевич Аксаков, третий сын писателя С. Т. Аксакова.

12 января 1866 года (Москва)

Федор Тютчев – Эрнестине Тютчевой

Итак, свадьба Анны, эта свадьба, из-за которой было столько волнений, стала наконец свершившимся фактом... Как же мало места занимает в реальности все, что разрастается в мыслях до невероятных размеров, будь то в предвкушении или позже в воспоминаниях! – Сегодня утром, в 9 часов, я отправился к Сушковым, где нашел всех уже на ногах и во всеоружии. Анна только что окончила свой туалет, и в волосах у нее уже была веточка флердоранжа, столь медлившего распуститься... Еще раз мне пришлось, как в подобных обстоятельствах всем отцам – давно ушедшим, настоящим и будущим, держать в руках образ <...> Затем я проводил Анну к моей бедной старой матери, которая удивила и тронула меня остатком жизненной силы, проявившейся в ней в ту минуту, когда она благословляла ее своей иконой знаменитой Казанской Божией Матери. Это была одна из последних вспышек лампы, которая скоро угаснет... Затем мы отправились в церковь: Анна в одной карете с моей сестрой, я сам по себе следовал за ними в другой, и остальные за нами, как полагается... Обедня началась тотчас по нашем приезде. В очень хорошенькой маленькой церкви собралось не более двадцати человек... Было просто, достойно, сосредоточенно... Во время церемонии венчания мысль моя постоянно переносилась от настоящей минуты к прошлогодним воспоминаниям... Когда возложили венцы на головы брачующихся, милейший Аксаков в своем огромном венце, надвинутом на лоб, смутно напомнил мне раскрашенные деревянные фигуры, изображающие императора Карла Великого. Он произнес установленные обрядом слова с большой убежденностью, – и я полагаю, или, вернее, уверен, что беспокойный дух Анны найдет наконец свою тихую пристань. – По окончании церемонии, после того как иссяк перекрестный огонь поздравлений и объятий, все направились к Аксаковым <...>

Обильный и совершенно несвоевременный обед ожидал нас в семье Аксаковых, славных и добрейших людей, у которых, благодаря их литературной известности, все чувствуют себя, как в своей семье. Это я и сказал старушке, напомнив ей о ее покойном муже, которого очень недоставало на этом торжестве. Затем я попросил позволения уклониться от трапезы, ибо с утра испытывал весьма определенное и весьма неприятное ощущение нездоровья... Иван, только что вернувшийся, уверяет, что он более чем преуспел в стараниях заменить меня за столом. – Начинает смеркаться, и я вынужден кончить. Я ощущаю те же сумерки во всем моем существе, и все впечатления извне доходят до меня подобно звукам удаляющейся музыки. Хорошо или плохо, но я чувствую, что достаточно пожил, – *равно как чувствую, что в минуту моего ухода ты будешь единственной живой реальностью, с которой мне придется распрощаться!*

В декабре 1872 года Тютчев почувствовал, что отнимается левая рука, ощутил резкое ухудшение зрения; его начали мучить страшные головные боли. Утром 1 января 1873 года, несмотря на предостережение окружающих, он пошел на прогулку, намереваясь посетить знакомых. На улице с ним случился удар, парализовавший всю левую половину тела. 15 июля 1873 года Тютчев скончался. Через три дня гроб с телом поэта был перевезен из Царского Села в Санкт-Петербург. Федора Тютчева похоронили на кладбище Новодевичьего монастыря.

Александр Герцен

Автор знаменитой хроники отечественной и европейской жизни середины XIX века «Былое и думы», романа «Кто виноват?», нескольких повестей и рассказов Александр Иванович Герцен родился в Москве в 1812 году в семье богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева. Ставшую известной фамилию Герцен (от немецкого «Herz» – «сердце») придумал сыну отец, и связано это было с тем, что его брак с матерью Александра Ивановича – немкой Генриеттой-Вильгельминой-Луизой Гааг – официально так и не был оформлен.

Наталья Александровна Захарьина была двоюродной сестрой Герцена, а точнее – незаконнорожденной дочерью Александра Алексеевича Яковлева (старшего брата отца Александра Ивановича). Она была младше своего кузена на пять лет.

После смерти отца семилетняя Наталья вынуждена была отправиться вместе с другими детьми и матерью в деревню. Там своим печальным видом она привлекла внимание княгини М. А. Хованской, родной сестры ее покойного отца, и та «из милости» взяла девочку к себе на воспитание. В результате Наталья жила у этой своенравной и деспотичной старухи на положении «сироты-воспитанницы» до своего двадцатилетия.

Будучи кузиной и кузеном, Наталья и Александр были знакомы с раннего детства, но душевно они сблизились лишь в то время, когда Герцен уже был студентом Московского университета и особенно во время его ареста (как «смелого вольнодумца, весьма опасного для общества») и тюремного заключения. Из ссылки (сначала из Перми, потом из Вятки и Владимира) Герцен часто писал Наталье Александровне и регулярно получал от нее ответы. Сначала это была обыкновенная переписка между родственниками, но потом Александр Иванович решил назвать связывающее их чувство не дружбой, а любовью.

15 января 1836 г. Вятка

Александр Герцен – Наталье Захарьиной

Я удручен счастьем, моя слабая земная грудь едва в состоянии перенести все блаженство, весь рай, которым даришь ты меня. Мы поняли друг друга! Нам не нужно вместо одного чувства принимать другое. Не дружба, любовь! Я тебя люблю, Natalie, люблю ужасно, сильно, насколько душа моя может любить. Ты выполнила мой идеал, ты забежала требованиям моей души. Нам нельзя не любить друг друга. Да, наши души обручены, да будут и жизни наши слиты вместе. Вот тебе моя рука, она твоя. Вот тебе моя клятва, ее не нарушит ни время, ни обстоятельства. Все мои желания, думал я в иные минуты грусти, несбыточны; где найду я это существо, о котором иногда болит душа? Такие существа бывают создания поэтов, а не между людей. И возле меня, вблизи, расцвело существо, говорю без увеличений, превосшедшее изящностью самую мечту, и это существо меня любит, это существо – ты, мой ангел. Ежели все мои желания так сбудутся, то где я возьму достойную молитву Богу?

16 января 1836 г. Москва

Наталья Захарьина – Александру Герцену

Когда ты сказал мне, Александр, что отдал мне самого себя, я почувствовала, что душа моя чиста и высока, что все существо мое должно быть прекрасно. Друг мой, я была счастлива тем, что могла восхищаться тобою, любить тебя, становилась выше и добродетельнее от желания быть ближе к твоему идеалу; казалось, до него мне, как до звезды небесной, высоко. Я жила одним тобою, дышала твоею дружбой, и весь мир был красен мне одним тобою. Я чувствовала, что я сестра тебе, и благодарила за это Бога; искала, чего желать мне, – клянусь, не находила, так душа моя была полна, так довольно ей было твоей дружбы. Но Бог хотел открыть мне другое небо, хотел показать, что душа может переносить большее счастье, что нет границ блаженству любящим Его, что любовь выше дружбы... О, мой Александр, тебе знаком этот рай души, ты слышал песен его, ты сам певал ее, а мне в первый раз освещает душу его свет, я – благоговею, молюсь, люблю.

Друг мой, Александр, я бы желала сделаться совершенным ангелом, чтобы быть совершенно достойной тебя, желала бы, чтобы в груди, на которую ты склонишь твою голову, вмещалось целое небо, в котором бы тебе не доставало ничего, а она богата одною любовью, одним тобою. И с этою любовью – сколько веры в тебя, и можно ли любить без веры? Нет, мой друг, нет, мой ангел, твой идеал далеко, ищи его там, ближе к Богу, а здесь, на земле, нет его. Ты можешь быть идеалом многих, а быть твоим... Мне часто бывает грустно, когда я обращаюсь на себя и вижу всю ничтожность свою пред тобою, мой несравненный Александр; грудь моя слишком тесна, чтобы заключить в себе все, чего бы ты желал; может, и душа моя слишком далека твоей души, чтобы слиться с нею в одно? Нет, мой ангел, ищи несравненного, неподражаемого, а мне ты много найдешь подобных; не склоняй головы твоей на слабую грудь, которая не в силах снести столько прекрасного, столько святого. Грустно стало мне...

Прощай.

21 января 1836 года

Александр Герцен – Наталье Захарьиной

Сегодня ночью я очень много думал о будущем. Мы должны соединиться, и очень скоро, я даю сроку год. Нечего на них смотреть. Я обдумал целый план, все вычислил, но не скажу ни слова, в этом отношении от тебя требуется одно слепое повиновение.

Маменька приехала. Твои письма, едва прочтенные, лежат передо мною, а я мрачен, черен, как редко бывал и в Вятке. Да, завеса разодрана, вот она истина нагая, безобразная. Наташа, ради бога, я умоляю тебя, не пиши ни слова против следующих слов: ты должна быть моя, как только меня освободят. Как? – все равно. Найдется же из всех служителей церкви один служитель Христа. Но ни слова против; Наташа, ангел, скажи да, отдайся совершенно на мою волю. Видишь ли, ангел мой, я уж не могу быть в разлуке с тобою, меня любовь поглотила, у меня уж, кроме тебя, никого нет. Ты писала прошлый раз, что жертвуешь для меня небом и землею. Я жертвую

одним небом. Слезы на глазах – никого, никого – ты только. Но ты имеешь надо мной ужасную власть, ты меня отговоришь, и я буду страдать, буду мрачен, буду, как ты не любишь меня. Ежели скажешь да, я буду обдумывать, это будет моя игрушка, мое утешенье, не отнимай у изгнанника. Все против меня. Это прелестно: наг, беден, одинок, выйду я с своей любовью. День, два счастья полного, гармонического. А там – два гроба! Два розовые гроба. Я не хочу перечитывать писем – послов; только зачем ты так хлопочешь об ушибе, душа разможжена хуже черепа. Фу, каким морозом веет от этого старика, которому мой ангел, моя Наташа, целует с таким жаром руку. Ты находишь прелесть в этой подписи: Наташа Герцен; а ведь он не Герцен, – Герцен прошлого не имеет, Герценов только двое: Наталия и Александр, да над ними благословение Бога. Знаешь ли ты, что Сережа говорил об тебе, что ты безумная, что ты не должна ждать лучшего жениха, как дурак тот, что ты не имеешь права так разбирать, а его сестры имеют. От сей минуты я вытолкнул этого человека из сердца, он смеет называть меня братом, – в толпу, тварь, в толпу, куда ты выставил голову, в грязь – топись. Ангелы не знают этого ужасного чувства, которое называют мечь, а я знаю, стало быть, я хитрее ангелов.

Наташа, божество мое, нет, мало, Христос мой, дай руку, слушай: никто так не был любим, как ты. Всей этой вулканической душой, мечтательной, я полюбил тебя, – этого мало: я любил славу – бросил и эту любовь прибавил, я любил друзей – и это тебе, я любил... ну, люблю тебя одну, и ты должна быть моя, и скоро, потому что я сиротою без тебя. Ах, жаль мне маменьку. Ну, пусть она представит себе, что я умер. Я плачу, Наташа. Ах, кабы я мог спрятать мою голову на твоей груди. Ну, посмотрим друг на друга долго. Да не пиши, пожалуйста, возражений, ты понимаешь чего. Дай мне окрепнуть в этой мысли. Прощай. Ты сгоришь от моей любви, это огонь, один огонь.
Твой Александр

29 января 1836 года (Москва)

Наталия Захарьина – Александру Герцену

Научи меня, ангел мой, молиться, научи благодарить Того, кто в чашу моей жизни влил столько блаженства, столько небесного, кто так рано дал мне вполне насладиться счастьем. Когда я хочу принести ему благодарение, вся тленность исчезает, я готова пред лицом самого Бога вылить всю душу молитвой. Но этого мало, и жизни моей не станет довольно возблагодарить его; ты научил познать его, научи, научи благодарить его, ангел мой!

Напрасно ты боялся, друг мой, чтоб меня не отняли от тебя. Когда я встретила тебя, душа моя сказала: вот он! И я не видала никого, кроме тебя, и любила одного тебя. Я не знала, что люблю тебя; думала, что это дружба, и предпочитала ее всему на свете, и не желала узнать любви, и никем не желала быть любимой, кроме тебя. Верь, Александр, я бы была довольно счастлива, ежели бы умерла и сестрою твоей, да, довольно, а теперь я слишком счастлива! Тебе этого не довольно, ты слишком велик и пространен сам, чтоб ограничиться таким маленьким счастьем; в обширной груди твоей и за ним будут кипеть волны других желаний, других красот и целей. Бог создал тебя не для одной любви, путь твой широк, но труден, и потому

каждое препятствие, остановка и неудача заставят тебя забыть маленькое счастье, которым ты обладаешь, заставят тебя отвернуться от твоей Наташи. А я, мой друг, и нечего желать, мне нечего искать, мне некуда стремиться; путь мой, желания, цель, счастье, жизнь и весь мир – все в тебе!

Тебе душно на земле, тесно на море, а я, я потонула, исчезла, как пылинка, в душе твоей; и мудрено ль, когда душа твоя обширнее моря и земли? <...> Друг мой, говори: «Наташа, ты любишь меня», говори мне это, ангел мой, в этих словах мое счастье, ибо я сама и любовь моя созданы тобою <...>

Я тебя люблю, насколько душа моя может любить, а насколько же душа твоя может любить? Какой океан блаженства! Знаешь ли, я никогда не верю счастью, – так велико, так дивно оно.

20 июля 1836 г. Вятка

Александр Герцен – Наталье Захарьиной

Итак, два года черных, мрачных канули в вечность с тех пор, как ты со мною была на скачке; последняя прогулка моя в Москве, она была грустна и мрачна, как разлука, долженствовавшая и нанести нам слезы, и дать нам боле друг друга узнать. Божество мое! Ангел! Каждое слово, каждую минуту вспоминаю я. Когда ж, когда ж прижму я тебя к моему сердцу? Когда отдохну от этой бури? Да, – с гордостью скажу я – я чувствую, что моя душа сильна, что она обширна чувствами и поэзией... и всю эту душу с ее бурными страстями дарю тебе, существо небесное, и этот дар велик <...>

Любовь – высочайшее чувство; она столько выше дружбы, сколько религия выше умозрения, сколько восторг поэта выше мысли ученого. Религия и Любовь, они не берут часть души, им часть не нужна, они не ищут скромного уголка в сердце, им надобна вся душа, они не делят ее, они пересекаются, сливаются. И в их-то слитии жизнь полная, человеческая. Тут и высочайшая поэзия, и восторг артиста, и идеал изящного, и идеал святого.

О, Наташа! Тобою узнал я это. Не думай, чтоб я прежде любил так; нет, это был юношеский порыв, это была потребность, которой я спешил удовлетворить. За ту любовь ты не сердись. Разве не то же сделало все человечество с Богом? Потребность поклоняться Иегове заставила их сделать идола, но оно вскоре нашло Бога истинного, и он простил им. Так и я; я тотчас увидел, что идол не достоин поклонения, и сам Бог привел тебя в мою темницу и сказал: «Люби ее, она одна будет любить тебя, как твоей пламенной душе надобно, она поймет тебя и отразит в себе». – Наташа. Повторяю тебе, душа моя полна чувств сильных, она разовьет перед тобой целый мир счастья, а ты ей возвратишь родное небо. – Провидение, благодарю тебя!

Целую тебя, ангел мой, *быть может*, скоро, через месяц, этот поцелуй будет не на письме, но на твоих устах!

Твой до гроба Александр

10 августа 1836 г. Загорье

Наталья Захарьина – Александру Герцену

Александр, ангел мой, зачем ты написал в последнем твоём письме: «твой до гроба»? Неужели за гробом вечность без тебя? На что ж говорить о небе, на что искать неба? Мое небо там, где ты. Я не поменяюсь с жителями неба, не отдам земного странствования на райскую жизнь, нет, нет! Александр мой, милый, на что же Бог соединил нас здесь, когда за могилой нам вечная разлука? Разве радости небесные могут заменить мне тебя? Тобою я свята, ты мой ангел, ты мое небо, ты мой рай, моя светлая жизнь; гроб не разлучит нас; мы переживаем друг друга: расставшись с телом, не две души взлетят на небо, а один ангел. Для чего же здесь вместе, когда там разны? Не для того ли Бог слил наши существования в одно, чтобы мы друг другом становились добродетельнее, чище, выше, святее, чтобы друг другом сближались с Ним! Не для того ли, чтобы, будучи в обители скорби и печали, мы находили друг в друге и небо, и рай, чтобы сделали себя здесь быть достойными друг друга там? Я твоя вечно, твоя и здесь, твоя и там! Мне не страшна могила, мне сладко будет лежать и в земле, по которой ты будешь ходить. Мне кажется, расставшись с телом, душа моя не покинет землю, когда еще на ней будешь ты, тогда она будет твоей спутницей, и уж ни язык коварного, ни рука злого не коснется тебя, милый мой, – душа моя охранит тебя, умолит за тебя.

О, мой Александр! Что может сравниться с тобою? Что может заменить тебя? Если б ты и не любил меня, я боготворю тебя; мое блаженство безгранично тем, что ты есть, что я тебя знаю, что я умею любить тебя. Несравненный, неподражаемый! И измерь же ты сам весь рай души моей, когда я могу назвать тебя моим Александром! Будь моим до гроба, а я твоя, твоя навеки! Твоя, твоя! Твоею на земле, твоею и в небесах!

6 сентября 1836 г. Вятка

Александр Герцен – Наталье Захарьиной

Сердце полно, полно и тяжело, моя Наташа, и потому я – за перо писать к тебе, моя утренняя звездочка, как ты себя назвала. О, посмотри, как эта звезда хороша, как она купается в лучах восходящего солнца, и знаешь ли ее название – Венера, Любовь! Всегда восхищался я ею, пусть же она останется твоею эмблемой, такая же прелестная, такая же изящная, святая, как ты <...>

О, боже, боже, быть так любимым и такою душой! Наташа, я все земное совершил, остается еще одно наслаждение – упиться славой, рукоплесканием людей, видеть восторг их при моем имени, – словом, совершить что-либо великое, и тогда я готов умереть, тогда я отдам жизнь, ибо что мне может дать жизнь тогда? Я одного попросил бы у смерти: взглянуть на тебя, сказать слово любви голосом, взглядом, поцелуем, один раз – без этого моя жизнь не полна еще.

Ты пишешь, что я не жил никогда с тобою, что, может быть, в тебе множество недостатков, которых я не знаю, что ты далека от моего идеала. Перестань, ангел мой, перестань, нет, ты прелестна, ты выше моего идеала, я на коленях пред тобою, я молюсь тебе, ты для меня добродетель, изящное

все бытие, и я тебя так знаю, как только мог подняться до твоей высоты. Ведь и ты не жила со мною, но я смело говорю: твое сердце не ошиблось, оно нашло именно *того*, который мог ему дать блаженство; я понимаю, чего хотела твоя душа, – я удовлетворю ей. Из этого не следует, чтоб я мог сделать счастливою всякую девушку с благородным сердцем, – о, нет, именно тебя, тебя! Мой пламень сжег бы слабую душу, она не вынесла бы моей любви, она бы не могла удовлетворить безумным требованиям моей фантазии, ты превзошла их. Клянусь тебе нашею любовью, что никогда я не видал существа, в котором было бы столько поэзии, столько грации, столько любви, и высоты, и силы, как в тебе. Это все, что только могла придумать мечта Шиллера. Я иногда, читая твои письма, останавливаюсь от силы и высоты твоей; тебя воспитала любовь, ты непрерывно становишься выше. Возьми одну мысль твою идти в Киев, – она безумная, нелепая, но высота ее превышает высоту самых великих поступков в истории. Слезы навернулись, когда я читал это. Я не спорю, может, *другие* скажут, что ты *мечтательница*, что никогда не будешь *хозяйка*, т. е. жена-кухарка, но тот, у кого в душе горит огонь высокого, тот поймет тебя, и ему не нужно других доказательств кроме одного письма. А я – любимый тобою, любящий тебя – я, будто, не знаю моего ангела, моей Наташи??

3 марта 1838 г. Москва

Александр Герцен – Наталье Захарьиной

Итак, совершилось! Теперь я отдаюсь слепо провидению, только-то я упросил, просьба услышана, твой поцелуй горит на моих устах, рука еще трепещет от твоей руки. Наташа, я говорил какой-то вздор, говорил не языком, ту речь, широкою как Волга, слышала ты. Это свиданье наше, его у нас никто не отнимет. Это первая минута любви полной, память ее пройдет всю жизнь, и когда явится душа там – она скажет Господу, что испытала все святое, скажет о 3 марте. – Все волнуется... но не так, как вчера, о, нет, что-то *добродетельное* (я не умею выразить), светлое, упоение – слышал я слово любви из твоих уст, что же я услышу когда-нибудь после полнее? – голос Бога? – это он-то и был. Ты благословила меня, когда я пошел, но вряд заметила ли, что тогда было со мной, я приподнял руку, хотел благословить тебя, взглянул – и рука опустилась, передо мной стоял ангел, чистый, Божий – молиться ему – а благословляет он, и я не поднял руку.

Но теперь все это у меня смутно, перепутано, все поглощено одним – *видел* любовь, видел воплощение ангела – и быстро, как молния, и так же ярко, оно прошло, – о, нет, оно в нас, оно вечно, это свиданье. – Теперь я силен и свят – мне свиданье было необходимо. Natalie, пусть же провидение безусловно царит над нами, лишь бы указывало оно путь, – Идем – быть великим человеком, быть ничтожным... все, все, да и разницы нет, выше я не буду. Не молния, а северное сияние, нежно-лазорево, трепещущее, окруженное снегом. Я чувствовал огонь твоих щек, твой локон касался, я прижимал тебя к этой груди, которая три года задыхалась при одной мысли. Ты говорила. Чего же больше? Умрем... Нет, и это слишком, воля провидения безусловная. И будто это не сон? Ну, пусть сон, за него нельзя взять *не*

сон вселенной. Довольно, прощай, еще благослови путника, еще пламенный поцелуй его любви тебе.

9—12 марта 1838 г. Владимир

Александр Герцен – Наталье Захарьиной

Милая, милая невеста! Что чувствовал и сколько чувствовал я неделю тому назад? Каждая минута, секунда была полна, длинна, не терялась, как эта обычная стая часов, дней, месяцев – о, как тогда грудь мешала душе, эта душа была светоносна, она хотела бы порвать грудь, чтоб озарить тебя.

Пятый час; я стоял <...> а внутри кипела буря, нет, не буря, а предчувствие, – его испытает природа накануне преставления света, ибо преставление света – верх торжества природы. Душа моя до того была поглощена тобою, что я почти не обратил внимания на *город*, и ежели я ему бросил привет горячий, со слезою, когда его увидел, он не должен брать его на свой счет, и этот привет был тебе, с ним мы увидимся после. Возвращаясь, я еще меньше думал об нем <...>

Ты моя невеста, потому что *ты моя*. Я тебе сказал: «У меня никого нет, кроме тебя». Ты ответила: «Да, ведь я одна твоё создание». Да, еще раз, ты моя совершенно, безусловно моя, как мое вдохновение, вылившееся гимном. И как вдохновение поэта выше обыкновенного положения, так и ты, ангел, выше меня, – но все-таки моя. Оно телесно вне меня, но оно мое, оно – я. Тебе Бог дал прелестную душу, и прелестную душу твою вложил в прелестную форму. А мысль в эту душу заронил я, а проник ее любовью – я, я осмелился сказать ангелу: Люби меня, и ангел мне сказал: Люблю. Я выпил долгий поцелуй с ее уст, один я и передал ей поцелуй. Моя рука обвилась около ее стана – и ничья не обовьется никогда. Понимаешь ли эту поэзию, эту высоту *моего полного* обладания. В минуту гордого упоенья любви я рад, что ты не знала любви отца и матери и *эта* любовь пала на мою долю <...>

Natalie, Natalie! До завтраго, прощай.

Завтра письмо, как будто год не имел вести, душа рвется к письму. Неужели может быть любовь полнее нашей? НЕТ!

Кончилось тем, что в мае 1838 года Наталья Александровна убежала из дома своей «благодетельницы» Хованской. Влюбленные встретились во Владимире и там сочетались законным браком. Потом они поселились неподалеку от знаменитых Золотых ворот и на какое-то время замкнулись в своем счастливом уединении.

Одни биографы утверждают, что уже после нескольких «медовых лет» во Владимире Наталья Александровна пережила кризис веры в «идеальную любовь» и безупречность собственного мужа. Считается, в частности, что особенно кризис этот обострился после его «случайной» измены с горничной (эту измену Герцен потом описывал как некий опыт, узнавание жизни такой, какая она есть). Другие уверены, что «прогрессивный» Герцен высоко ценил умственные и душевные качества своей жены, и именно это сделало их брак «союзом равноправных личностей», а это, в свою очередь, привело к поиску «самости» у Натальи Александровны, к смене образцовых моделей и к свободно-разрушительной сексуальности.

В 1847 году они покинули Россию (как потом оказалось, навсегда) и вместе пережили надежды и разочарования, связанные с событиями французской революции 1848 года.

Следует отметить, что Natalie много болела. Связано это было с тем, что практически каждый год, начиная с появления на свет в 1839 году сына Александра, она рожала детей.

К несчастью, второй, третий и четвертый ребенок умерли сразу после родов, пятый – сын Николай – родился глухим, а седьмой – дочь Лиза – прожила всего одиннадцать месяцев. В 1850 году родилась Ольга.

А потом Наталья Александровна вдруг увлеклась Георгом Гервегом, которого Генрих Гейне называл «железным жаворонком» грядущей германской революции (в Ницце Гервег жил со своей женой Эммой).

Герцен узнал о любви своей жены к Гервегу в январе 1851 года.

Очевидно, что любовный треугольник «Гервег – Наталья – Герцен» возник не на ровном месте, а во время сильнейшего душевного кризиса, который пережила молодая женщина, и связан он был с крушением ее романтических представлений о семье и браке.

Каждый в этой непростой ситуации повел себя по-своему. Для Герцена, например, главное заключалось в том, чтобы «остаться на высоте». Поначалу он ждал, что тот, кого он еще недавно считал своим другом, честно объяснится, но объяснения не последовало. Тогда он обратился к жене, понимая, что этим путем они быстро дойдут «до больших бед» и что в их жизни «что-нибудь да разобьется». Для Натальи Александровны невозможность продолжения отношений с Гервегом стала тяжелейшей драмой. Да, в конечном итоге она осталась с мужем, но втайне сохранила чувство к Георгу. И тот тоже вроде бы со страстью относился к ней, ведь, как известно, препятствия только обостряют любовные отношения.

Герцен, пережив всю гамму чувств, начиная от чувства сострадания к мукам жены и кончая страстным желанием отстоять свою любовь, был вынужден прогнать Гервега и потребовал отъезда семьи Гервегов из Ниццы. Георг стал шантажировать его угрозой самоубийства, но все же Гервеги уехали.

Семейный конфликт достиг апогея. Началась переписка, ибо Natalie любила поэта вопреки рассудку, а Герцен... разгласил ее письма, снабдив их достаточно едкими комментариями. Супруги бурно объяснились. Позже Наталья Александровна назвала расхождение с мужем «страшной ошибкой», и они примирились друг с другом.

А потом произошло страшное несчастье. 16 ноября 1851 года во время шторма в Средиземном море затонул пароход «Город Грасс», на котором находились мать Герцена и их с Натальей Александровной восьмилетний сын Коля. Бабушка везла глухого от рождения внука на консультацию в Марсель. Их тела так и не были найдены. В ту ноябрьскую ночь в Ницце их с нетерпением ждали, украсили иллюминацией сад, но вместо праздника в дом пришло горе.

Этот кошмар отодвинул Гервега и все, что было с ним связано, на второй план.

16 января 1852 г.

Александр Герцен – Марии Рейхель

Голова болит чаще и чаще. Скука такая, тоска, что, наконец, если бы не дети, то и все равно, впереди ничего, кроме скитаний, болтовни и гибели за ничто <...> Finita la Comedia, матушка Марья Каспаровна. Укатал меня этот 1851 год.

«Укатал этот 1851 год» и Наталью Александровну. После трагической гибели сына она очень тяжело заболела, оказавшись не в силах перенести потерю. 30 апреля 1852 года у нее родился восьмой ребенок. Сына назвали Владимиром, но через два дня он умер. В тот же день умерла и сама Наталья Александровна. Ей не было и тридцати пяти лет.

Мать и новорожденный сын были похоронены в Ницце в одном гробу. После этого потрясенный Герцен написал: «Все рухнуло – общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье».

Оставив у себя старшего сына, Александр Иванович двух дочерей на время отдал приехавшей за ними из Парижа М. К. Рейхель. После этого он переехал в Лондон и там в 1853 году основал Вольную русскую типографию, чтобы вслух, на весь мир и без помех, обращаться к русскому народу.

Жить Герцену оставалось еще восемнадцать лет...

Николай Огарев

Ближайшим другом Герцена был поэт «с трагическими нотами» и публицист, всегда остававшийся самим собой и «гулявший сам по себе», Николай Платонович Огарев.

Когда умерла Наталья Александровна, жена Герцена, у того осталось трое детей: Саша, Наталья (Тата) и Оля. Старшему Саше было двенадцать лет, младшей Оле – два года. Перед смертью Наталья Александровна не раз говорила, что хотела бы доверить воспитание детей Наталье Алексеевне Тучковой. Жена Герцена любила ее и верила, что только Наталья Алексеевна сумеет заменить мать осиротевшим детям.

Упомянутая Наталья Алексеевна Тучкова была дочерью предводителя пензенского дворянства и участника событий 1825 года А. А. Тучкова, человека в высшей степени благородного и хранившего заветы декабристской чести. Она получила хорошее домашнее образование, а в семнадцать лет откликнулась на чувства Николая Платоновича Огарева.

В 1849 году она стала его гражданской женой.

Наталья Алексеевна была женщиной пылкой, и она просто не могла не увлечься освободительными идеями. В Париже, во время событий 1848 года, она даже пыталась пробраться на баррикады. Восхищенный Огарев тогда написал ей: «Я еще в жизни никогда не чувствовал, что есть женщина, которая с наслаждением умрет со мной на баррикаде! Как это хорошо!»

Естественно, Тучкова не могла не откликнуться на предсмертное пожелание подруги. При этом ее не останавливало то, что Огарев был старше на пятнадцать лет и состоял в законном браке.

Дело в том, что еще в 1836 году Огарев сблизился с Марией Львовной Рославлевой, дочерью Льва Яковлевича Рославлева и Анны Алексеевны Панчулидзевой.

23 апреля 1836 г.

Николай Огарев – Марии Рославлевой

Вчера я был печален, печален, как еще никогда. Почему? Не знаю. Конечно, это не была ревность, – я слишком верю тебе, чтобы ревновать. Но два чувства, две мысли волновали мой дух. Я был так удален от тебя в течение всего дня – вот одна из причин моей грусти. Затем все эти люди, Мария, эти люди, называющие себя твоими друзьями, – так недостойны тебя. Эта дама с печатью глупости во взоре, этот господин с маленькими лживыми глазами и толстым животом, с физиономией, обнаруживающей физические аппетиты, ужасно раздражали меня. Господи, думал я, возможно ли, чтобы этот олицетворенный материализм безнаказанно приближался к этому существу, столь чистому и святому, которое я называю *моей* Марией? Друг мой, речи этого господина меня ужасают; это эгоизм, порождающий полный скептицизм, но втиснутый в тесную рамку обыденности. Говорю тебе, этот человек испугал меня, потому что он неглуп. Волна мизантропии нахлынула на меня, и я не мог совладать с нею; мне приходилось делать усилие над собою, чтобы поддерживать разговор с этими людьми. По возвращении домой мизантропия обратилась на меня самого, и в памяти моей воскресла вся летопись моей порочности. Наконец мое лихорадочное возбужденное воображение сосредоточилось на самом пороке, и моя мысль начала купаться в омуте разврата. В эту минуту я был недостойн тебя,

Мария. Прости мне это, – может быть, это было вызвано каким-нибудь расстройством в организме. Дух мой скоро воспарил, и теперь я снова твой со всей возвышенностью ума, со всей чистотой и непорочностью души, со всей святой страстью моей любви к тебе. От этого я не сомкнул глаз до сих пор, потому что ко всему этому внутреннему волнению присоединялись еще несносные прелести моей квартиры.

Теперь покой вернулся в мою душу. Утро восхитительно. Солнце едва встало и вид на равнину бесподобен. Теперь я могу думать о тебе и соединять с тобою все мысли, которые кишат в моей голове, и сливать с ними грезы о будущем.

Через три дня ты будешь моей женой, Мария, через три дня мы всецело будем принадлежать друг другу, и отныне наша судьба будет едина. Пойдем, Мария, исполнять ее. Я чувствую, некий Бог живет и говорит во мне, пойдем, куда нас зовет его голос. Если у меня довольно души, чтобы любить тебя, у меня, наверное, хватит и силы, чтобы идти по следам Христа – на освобождение человечества. Ибо любить тебя значит любить все благое, Бога, вселенную, потому что твоя душа открыта добру и способна охватить его, потому что твоя душа вся – любовь. Да, моя любовь к тебе делает меня гордым. Нынче я не промедлю минуты, чтобы прийти увидеть тебя и обнять. В твоих объятиях, Мария, я чувствую себя – себя, и целый мир идей и любви, и целую будущность, полную величия, – в твоих объятиях я чувствую себя возвышенным, возвышенным, как наша любовь. Никто не в силах понять нашу любовь; и пусть их не верят, дети грязи и праха, пусть тешатся своей язвительной улыбкой. Их неверие есть неверие несчастного, отрицающего все, чтобы освободить свою совесть от призрака добродетели, в существование Бога; они не верят, потому что не могут любить. Оставь их в жертву зависти и всем этим мелким терзаниям, которые вызывает в их порочной душе вид добродетели. Забудь и презри – я вручаю им этот дар от всей души.

Наша любовь, Мария, заключает в себе зерно освобождения человечества. Гордись ею! Наша любовь, Мария, это страж нашей добродетели на всю жизнь. Наша любовь, Мария, это залог нашего счастья. Наша любовь, Мария, это самоотречение, истина, вера в наших душах. Наша любовь, Мария, будет пересказываться из рода в род, и все грядущие поколения будут хранить нашу память, как святыню. Я предрекаю тебе это, Мария, ибо я пророк, ибо чувствую, что Бог, живущий во мне, предназначает мне мою участь и радуется моей любви к тебе. Прости. Приди в мои объятия.

Брак между Огаревым и Марией Львовной Рославлевой был заключен в 1838 году, и она взяла его фамилию.

18 июля 1840 г.

Николай Огарев – Марии Огаревой

Хотел писать тебе вчера вечером; но был не в духе; лежал на диване и не мог ничего делать и лег спать в 10 часов. Читал и перечитывал твое письмо.

Je ne te meconnais pas²². Ты все же моя милая, добрая, умная, откровенная, прямодушная, mon interessante Marie²³. Но многое и многое в твоих мнениях основано на условной фантастической жизни общества, а не на внутренней, глубокой, действительной человеческой жизни; часто ты непоследовательна в своих убеждениях, и сердце, ум с одной стороны спорят с привычками, вкусами с другой стороны. Повторю: иногда это меня сердит и оскорбляет, но по большей части мне это больно, мне тебя жалко, что ты добровольно отказываешься от лучшей доли человека. Так, напр[имер], ты убеждена в прогрессе – и не можешь мысленно оторваться от круга, которого участь пребывать в status quo. Так, тебе все поэтическое важно, но не занимает тебя. Маша, меня это мучит – и не ради себя, а ради тебя; ты лишаешься лучших наслаждений. Поверь мне, что эти противоречия, которые существуют в тебе самой (если заглянешь в себя откровенно), – они-то главное противоречие между нами. Но все же хорошая человеческая сторона и в тебе, и во мне так сильна, что мы не можем оставаться в отношениях тупых и пошлых мужа и жены, а должны быть товарищами, друзьями, любовниками. Дело в том теперь, что в близких отношениях надо не досадовать друг на друга, а иметь друг на друга теплое влияние, полное любви. Оно не может иметь места, если ты в меня веришь. А я в тебя верю, право, верю. Да вот как: если бы ты перестала меня любить en amante²⁴ и была бы увлечена другим, если б я вынес это – я был бы лучшим твоим другом, и тот должен бы сделать тебя счастливою под опасением смертной казни. В святость брака я не верю – а в святость любви верю. У нас брак сделался пугалом людей – и мы видим узы. Но истинная любовь не надевает оков, но только симпатизирует со всеми движениями любимой души. От этого привязанность к людям, которые близки к любимому нами существу. От этого я благословляю Галахова²⁵ за все минуты душевной симпатии, которые ты с ним проводила. Брак мешает жить, а любовь побуждает к жизни, делает жизнь гармоническою, полною, необъятно широкою. Если ты думаешь, что между нами нет ничего общего, кроме названий мужа и жены, – то прогони меня, просто прогони меня, – муж человек невыносимый. Но я, Маша, я полон надежды, я глубоко убежден и в моей любви к тебе, и в том, что противоречия между нами мнимы, что они должны рушиться вследствие наших благородных натур. Гордиева узла я не могу разрубить, на это у меня нет ни капли гениальной воли. Но я буду всегда вести себя вследствие твоего желания: ты приманишь – приду, ты бросишься в мои объятия – возьму; ты махнешь – отойду, воротишь – ворочусь. Что об этом будут думать люди, мне до того дела нет. Не хотелось бы, чтоб они тебя позорили, а меня – сколько им угодно; к этому я совершенно равнодушен <... > Маша, Маша! если б ты немного захотела вникнуть в мою душу, ты нашла бы, что такое самолюбие для меня не существует. Нет! – я тебя люблю как друга, подругу, моего ребенка, которому хотелось бы дать мне все возможное человеческое блаженство – лишь бы только человеческое, вытекающее из святой, вечной, божественной природы человека, а не из пошлой, условной,

²² Я тебя не узнаю (фр.).

²³ Моя интересная Мария (фр.).

²⁴ Как любовница (фр.).

²⁵ Иван Павлович Галахов – приятель Герцена и Огарева, который любил Марию Львовну. Их роман начался летом 1841 года, за границей, и продолжался около года.

ежедневной, формалистической, призрачной жизни общества. Если б я был ангел, Маша, я бы посадил тебя себе на крылья и унес бы на небо. Но и во мне много грязевого, мелкого и призрачного; я <...> не довольно просветлен духом, чтоб из светлого сознания действовать вследствие сильной воли. Вот, может быть, причина, отчего ты в меня мало веришь. Я на тебя имею мало влияния.

Все это было бы смешно,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.